

• Ш А Р Л Ъ
Л Е В И Н С К И

А Н



Д Е Р .

С Е Н

Шарль Левински Андерсен

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24607161

*Андерсен / Ш. Левински; пер. с нем. Т. Набатниковой.: Алтейя; Санкт-Петербург; 2017
ISBN 978-5-906910-46-2*

Аннотация

Немецкий офицер, хладнокровный дознаватель Гестапо, манипулирующий людьми и умело дрессирующий овчарок, к моменту поражения Германии в войне решает скрыться от преследования под чужим именем и под чужой историей. Чтобы ничем себя не выдать, загоняет свой прежний опыт в самые дальние уголки памяти. И когда его душа после смерти была подвергнута переформатированию наподобие жёсткого диска – для повторного использования, – уцелевшая память досталась новому эмбриону.

Эта душа, полная нечеловеческого знания о мире и людях, оказывается в заточении – сперва в утробе новой матери, потом в теле беспомощного младенца, и так до двенадцатилетнего возраста, когда Ионас (тот самый библейский Иона из чрева кита) убегает со своей овчаркой из родительского дома на поиск той стёртой послевоенной истории, той тайной биографии простого Андерсена, который оказался далеко не прост.

Шарль Левински (род. в 1946 г.) – признанный швейцарский классик, драматург и киносценарист, автор нескольких романов, известных во всем мире. Один из них уже хорошо знаком русскому читателю («Геррон», М.: Эксмо, 2013).

Содержание

1	5
I	6
II	129
Конец ознакомительного фрагмента.	152

Шарль Левински Андерсен

И это тоже, как и всё, посвящается Рут

1

*Краткость жизни нас портит.
Хорошо бы проверит, не испортит
ли нас долгая жизнь.*

Элиас Канетти

Перевод с немецкого
Татьяны Набатниковой

*Перевод книги осуществлен при поддержке швейцарского
совета по культуре "Pro Helvetia"*

I

1

Темно.

Не холодная беспросветная тьма камеры. Тёплая темнота.
Не знаю, где я.

Не могу шевельнуться. Хотя не чувствую никаких пут. И глаза не завязаны. Я совсем ничего не чувствую. Слепой и глухой. Могу различить лишь лёгкое давление на коже, отнюдь не неприятное. Намёк на волны.

Я хочу шевельнуть рукой, но кажется, сигнал до неё не доходит. Будто у меня вообще нет руки.

Я знаю, что у меня их две. Кисть только одна, но руки две.
Почему я их не чувствую?

С одной стороны: я в сознании.

С другой стороны: моё тело меня не слушается.

Я не знаю, как долго ещё продлится это состояние. И не по чему мерить время. Как долго я уже здесь?

И где это «здесь»?

Может, в меня попала пуля? Мы на войне.

Но у меня ничего не болит. Не может быть, чтоб я не чувствовал раны. Боль – единственная константа, на которую

можно положиться.

Или эта нечувствительность – симптом? Но чего?

Наши учёные, я всегда следил за этим, ищут для раненых в лазаретах средства, которые бы делали их совсем нечувствительными. Может, меня оглушили чем-то таким.

Но тогда разве бы я мог так ясно мыслить?

Что-то здесь не то.

Я даже не знаю, лежу ли я. Или стою. Или завис в воздухе. И этого чувства я лишился.

Я устал. Ну хоть какое-то внятное ощущение.

Устал.

2

Минуту я спал. Или неделю. Проснулся с таким чувством, будто нахожусь в плену.

Ведь возможность, что меня схватят, никогда не была исключена. Когда я стал Андерсеном, когда я решил стать Андерсеном, они были всего в десяти километрах. Я был подготовлен, отлично сфабрикованные документы, отлично выдуманная история жизни. Я обо всём подумал.

Всегда надо думать наперёд.

Ещё тогда, когда мне всё-таки пришлось ампутировать левую кисть, спустя столько лет после пулевого ранения, после стольких лет боли, ещё тогда я рассматривал такую возможность. Позаботился о том, чтобы никто не узнал об ампута-

ции. Ни в одном моём документе, кто бы его ни заводил, ничего про это не говорилось. То, что я всегда носил перчатки, подходило к моему ремеслу. Если они меня ищут, они ищут мужчину с двумя кистями.

У Андерсена только одна.

И, несмотря на это, я угодил в их сеть. Хотя не могу припомнить, как это произошло.

О предыдущем я знаю всё. О том, что было после – ничего. Память мне отказала, острый обрез – и потом ничего. Нет даже пробела, который мог бы тебе сказать: здесь что-то было. Здесь рухнуло дерево, взорвался дом. Где пустота было бы следом чего-то.

Не случилось даже пустоты.

Я выхожу из дверей, на мне коричневые кордовые брюки и тяжёлые ботинки, которые мне велики. Мне их кто-то подарил, так я себе придумал, когда я попросил у него кусок хлеба. Он сжалился надо мной, так я себе придумал. Мой плащ пахнет чем-то затхлым, как будто долго пролежал в сундуке или на чердаке. Это я тоже придумал. На коротко остриженной голове у меня кепка. Без козырька, как её надевают крестьяне, чтобы можно было прислонить голову к боку коровы, когда её доишь. Не шее мешочек на шнуре, в нём мои документы. Я знаю фамилию, которую вписал себе в документы. Я знаю всё. Андерсен. Я решил быть Андерсеном. Я Андерсен, и я выхожу из дверей.

И потом: ничего.

До этого я помню всё. Хорошая память в моей профессии обязательна. Я не забыл ничего.

Детские воспоминания. Родители. Школа. Всё тут, на месте.

Я могу описать свой класс. Парты с чернильницами, куда чернила подливали по понедельникам утром. Распятие, на котором не было фигурки Иисуса, шалость мальчишек или религиозный диспут. Наглядные пособия, которые приносили из учительской, разворачивали на штанге, а потом скатывали в рулон. Европа. Африканские звери. Военные походы Александра Великого. Триста-тридцать-три – при Иссосе умри. Я ещё всё помню. Все эти битвы я могу перечислить, Удо Хергес, сын мясника с толстыми бутербродами на перемене, которыми он ни с кем не делился. Конрад Вильмов по прозвищу Конни. Вальтер Хаарман, над фамилией которого мы посмеялись лишь годы спустя, когда увидели, что волосы у него остались только в фамилии. Хольгер Пискер, весь в синяках. Никогда не признавался, что отец его бьёт. Но то были следы побоев. Уж в этом я разбираюсь. Людгер Дистельхорст. Или Лотар? Нет, Людгер. Память у меня работает. Я ещё помню их всех, всех, всех. Одноклассников и учителей. Всех.

Его звали Бойтлин, Хорст-Фридрих Бойтлин, он был в

гимназии лишь кандидатом на должность учителя математики, не настоящий учитель. Мы это разузнали и дали ему это почувствовать. Одна лишь тростниковая палка для телесных наказаний ещё не придаёт авторитета. Нужна готовность пустить её в дело. Надо излучать уверенность, что прибегнешь к ней. У Бойтлина был слабый подбородок. Это я помню. Я могу описать каждую деталь, каждый запах, каждый вкус. Прокисшее молоко, и моя мать говорит: «Выпить всё равно надо. Мы не можем себе позволить что-то выбрасывать». Отец, который хотел во всём быть образцом, делает большой глоток и пытается показать лицом, будто ему вкусно. В тот день я впервые понял, что родители тоже лгут.

Все люди лгут.

Он тогда не облизал усы, как обычно делал, а ополоснул лицо под краном на кухне. Этим он себя выдал. Я это помню. Я помню это очень хорошо.

Всё. Выпускные экзамены. Униформу.

Мою профессию.

До самого того того момента...

Часть меня исчезла окончательно, так что даже чувства не осталось, будто что-то было. Как будто за дверью не оказалось никакого мира. Я потерялся у себя самого. Когда рвётся киноплёнка, разве заснятые персонажи знают, что будет происходить дальше с их лицами?

Почему, почему, почему меня не слушается тело?

Кошмар был бы логическим объяснением. Но разве во сне спрашивают себя, не сон ли это? Разве не нужно уже проснуться, чтобы задавать себе этот вопрос? Но если я бодрствую... В этих «если» и «но» можно запутаться, как в сети.

Я умер?

Нельзя исключить никакую возможность, и эту тоже. Вполне мыслимо, что когда я выходил из дверей, меня пристрелили. Это объяснило бы, почему мои воспоминания обрываются именно в тот момент.

Нет никаких сведений, как ощущаешь свою смерть изнутри. Может, всё ещё продолжаешь после этого думать. Может, и нужно после этого продолжать думать.

Может, эти мысли и есть то, что называют чистилищем. Тогда бессмертие было бы наказанием.

Всё это вообразимо, но не убеждает меня. Я довольно часто видел переход от жизни к смерти, и мне всегда казалось, что в нём есть что-то окончательное. Лица меняются основательно. С некоторым опытом можно это узнать ещё до того, как Дядя Доктор приставит свой стетоскоп, чтобы проверить, не понадобится ли ещё вспомогательный укол. Лишь однажды у меня покойник очнулся в мертвецкой, к ужасу тех

людей, которые принесли следующего. Но и он не мог сообщить ничего стоящего о том времени, когда был мёртв.

Если я мёртв – я не принимаю это как допущение, а лишь взвешиваю теоретически, – если бы моё тело было мертво, застреленное или разрушенное как-то иначе, а я знал бы, несмотря на это, кем я был, это означало бы, что память человека существует независимо от его клеток.

Если подумать как следует.

Каждый человек имеет память или каждая память имеет человека?

Или есть нечто вроде души?

В это я никогда не верил. Я считаю, что это вспомогательное представление, которым люди утешают себя от действительности.

«Душа»; «бессмертие»; «справедливость». Я всегда верил только в те вещи; которые можно потрогать. Кто умер; тот умер. Я не умер.

5

Волны. Да; я чувствую волны.

Когда я стал Андерсеном; я был далеко от моря. Зачем они затащили меня на корабль; в моём состоянии? Куда они собираются меня доставить?

Мелкие; едва заметные волны. Корабль; стоящий в порту? В каком?

И; если бы это было так: почему корабль не отчаливает? Чего они ждут?

Я известен своей способностью находить ответы. Но теперь не знаю; какие вопросы должен задать. «Тыкать палкой в туман»; как говорят. Но туман – это хотя бы не ничто.

Какой смысл пытаться делать выводы; если не знаешь предпосылок. Слишком много того; чего я не понимаю. Об этом они позаботились. Кем бы ни были «они». Кто бы ни сверг меня в эту ситуацию. Это метод; которым я не владею. Хотя принцип мне; конечно; ясен. Если отнять у человека его органы чувств; он в какой-то момент теряет контроль. Полезная техника; если у тебя достаточно времени. Когда спешишь; то лучше применить силу. Человек выносит не всякую боль и ещё меньше выносит представление о ней. «Нас страшат не сами вещи; а наши представления о них». Кто это сказал? Не могу вспомнить. Должно быть; они мне что-то вкололи.

В любом случае я должен исходить из того; что попал в плен. Это вовсе не означает; что они знают; кто я такой. Поскольку война; многим приходится пребывать в одинаковом положении.

Я Андерсен.

Фамилия; дата рождения; чин, кодовое число.

Андерсен. Андерсен. Андерсен. Никогда не было никого другого. Я всегда был Андерсеном.

Андерсен. Андерсен. Андерсен.

Я чувствую волны. Я совершенно уверен, что это волны. Почти уверен. Это означало бы...

Стоп.

6

Не пускать мысли на самотёк. Они бегут туда, где сидит страх. Занять голову другим. Иначе в мозги вопьётся паника, и тогда пиши пропало.

Занять ум. Задать себе задачу и решать её.

Слова, хоть как-то связанные с морем. В алфавитном порядке. Армада. Борт. Волны. Галион. Дизель. Эпиктет. Но это имя. Был такой Эпиктет, который сказал... Слова, связанные с морем. Почему мне не приходит в голову слово на букву Ж? Жалюзи? Я не туда зашёл. Залп. Игла-рыба. Килевая качка. Корма.

Слепой и глухой. Но мой рассудок функционирует так, как я этого хочу.

Лодка. Мачта. Наутилус. Остров.

Паром. Прилив.

Если я сосредоточусь на ритме волн, я могу использовать их для измерения времени. Если минуты растягиваются и сжимаются, то теряешь ориентацию. Они хотят, чтобы я потерял ориентацию. Но я сильнее их. Опытнее.

Рыба. Старшина. Трюм. Улов.

Филировать. Я не знаю, что такое филировать. Никогда не

знал или забыл? Мне отказывают мои воспоминания?

Это было бы объяснение. Забываешь в первую очередь то, что было недавно, и потом, постепенно...

Хляби. Цинга. Чан.

Можно измерять время по собственному дыханию.

Только теперь мне приходит в голову, что я не дышу. Это должно было бы внушить мне страх, но это не внушает мне страха. Почему?

7

Мне надо подготовиться к допросу.

Дело всегда доходит до допроса. Они будут думать, что довели меня до готовности, но я опытнее их.

Главные вещи должны приходиться в голову автоматически. «Если я разбужу вас среди ночи, – говорил Бойтлин, – вы должны мне без запинки сказать правило бинома». Мы над ним посмеялись, как мы всегда над ним смеялись, но он был прав.

Меня зовут Андерсен. Андерсен. Андерсен.

Мне никогда не встречался человек с фамилией Андерсен. Если не считать сказочника, конечно. Новый наряд короля. Он идёт по улице голый, а люди видят наряд, надетый на него. Это позиция, которая убеждает. Или выдаёт с головой. Если кто-то пытается строить из себя героя, хотя трясётся от страха, тогда я знаю: он виноват. Тогда это только

вопрос времени.

Как Андерсен – так я себе положил – я буду лёгким. Не раболепным, это был бы фальшивый тон, который часто берут на допросах и который сразу вызывает подозрения. Лёгким, потому что всё позади. Немного растерянным. Позиция маленького человека, которому оказались не по плечу большие времена. Которому после ранения пришлось ампутировать левую кисть.

Если они спросят меня о семье, я расплачусь. Если начнут разузнавать – а они не начнут, иначе я сделал что-то не так, – но если всё-таки, то найдут в списке жертв бомбёжки фамилию моей невесты. Фридерике Мюленбах. Родилась 23 октября. Католичка. К её последнему дню рождения я послал ей серебряный крестик. Снятый с мёртвого. Такие дела важны. Я знаю всё, что знал бы Андерсен, если бы Андерсен был.

В деревне, где родился Андерсен – деревни лучше, чем города, – церковная книга сгорела вместе с церковью. Я потом побывал на этом месте.

Я обо всём подумал. Даже если они будут меня пытаться... Это моё слабое место: я слишком много знаю о возможностях, какие бывают. Что можно сделать ручкой от метлы. Электрокабелем. Ножом.

Ножом я владею как художник кистью. Самое острое лезвие не всегда самое лучшее. Разрыв может быть полезнее, чем разрез. Лучших результатов я достигал со старомодной

бритвой. Когда срезаешь у кого-нибудь мочку уха, то он верит, что ты и перед горлом не остановишься.

Не думать об этом.

8

Они не могут знать, кто я такой. Это невозможно.

Для этого я слишком хорошо подготовлен.

Но если бы всё-таки дело дошло до того, что они опознали бы меня по какой-то случайности, если бы они знали, кто я такой, если бы они меня изучали, вплоть до всех моих слабостей, то не нашли бы более действенного средства, чем эта беспомощность, чтобы заставить меня страдать.

Я никогда этого не выносил.

Совсем маленьким мальчиком меня однажды из-за высокой температуры собирались завернуть в мокрую холодную простыню. Я так сопротивлялся, что порвал дорогую материю. Моя мать потом неоднократно рассказывала мне эту историю. «Ты уже тогда был упорный», – говорила она. И: «Ты не выносил холода». Сам я не мог помнить этот эпизод, но убеждён, что вовсе не холод я не мог перенести. А предписанную извне обездвиженность. Вот это состояние я всегда ненавидел.

Всякий род утеснения. Это нечто совсем другое, чем болезненный страх быть запертым, какой иногда встречается у людей, которых заваливало под землёй или на фронте. У

меня это не имело отношения к моей болезни. Я просто этого не люблю. Я и в концерте норовлю всегда получить место на краю ряда. Я хочу распорядиться собой сам, это, пожалуй, моё главное свойство. Ещё в армии я не был хорошим исполнителем приказа. Разумеется, я был дисциплинирован и делал то, что должен был, но потом ранение стало для меня истинным освобождением. Больше никому не подчиняться – это стоило кисти. Не для того я создан, чтобы на меня набрасывали узду. Я должен быть свободным. Самостоятельным. Поэтому моя работа была для меня самой подходящей.

Работа без предписаний, в которой считаются лишь результаты.

Я создал себе Андерсена, чтобы и в изменившихся условиях продолжать оставаться свободным. И теперь...

В детстве я читал одну историю про человека, который, чтобы доказать своё мужество, велел запереть себя на всю ночь в гробу. Теперь я не помню, чем дело кончилось, но то была история ужаса. В гробу хотя бы знаешь, где ты есть. Там есть крышка, о которую можно биться и разбить голову в кровь. Там можно чувствовать своё тело. Может быть, там и задохнёшься, но перед этим хотя бы подышишь.

9

Я должен это выдержать. Вещи таковы, каковы они есть. Только низкосортные люди пытаются обмануть действи-

тельность. Костыль нужен тому, кто без него не может ходить. Или не отваживается. Может, было бы спокойнее придумать себе страховочную сетку, но рано или поздно тем больнее рухнешь на задницу.

В моей профессии самые трудные случаи представляли собой богомольцы. Верующие. Высшая власть, с которой, как им казалось, они говорили, могла тысячекратно не приходить им на помощь, но и в тысяча первый раз они всё равно на неё уповали. И черпали силы из своего воображения.

Мне не нужны костыли.

Как человек разумный, я исхожу из того, что бога нет. Или, если есть, чего тоже не докажешь, тогда у меня нет разумных оснований ждать от него помощи. Стоит просто посмотреть на мир, и увидишь, что он не управляется никаким милосердным существом.

И всё-таки: богомольцы всегда особенно упорны. Могут продержаться дольше, чем другие. Что-то здесь, должно быть, связано с воображением, что ты не один. Трудно у кого-нибудь отнять то, чем он владеет в своём воображении. Разумеется, когда-то добиваешься и этого, но приходится много работать.

Я презираю таких людей.

Я им завидую.

Было бы легко вообразить себе чудо. Не одно из тех, которые нам расписывал учитель по катехизису Лэммле своим фистульным голоском, вытянув ротик в трубочку, понимает-

ся нет. Лэммле был трус. В конце каждого рассказа он облизывал губы, как будто все ангелы и все небесные пособники, которых он нам так красноречиво расписывал, были сделаны из сплошного сахара и марципана.

Мы его называли «Ягнёнок-беее».

Такие детские книжки чудес только смешны. Но искушение нафантазировать свет во тьме, которая так долго меня окружает, этот соблазн очень даже присутствует. Я чувствую, как она мне подмигивает, эта шлюха-мысль.

Это было бы так просто. Мне пришлось бы только позволить разуму пасть.

Как иногда, стоя на гребне горы или на краю скалы, лишь с трудом противишься искушению прыгнуть.

Я не поддамся. Иначе они победили.

Не поддаваться искушению.

Не поддаваться.

10

Я спал – я много сплю – и проснулся, потому что правая моя рука двигалась. Мне это не снилось.

Она согнулась и снова распрямилась. Пальцы коснулись подбородка.

Первое движение с... Даже не помню, с каких пор. С бесконечности. Первое прикосновение. Не то чтобы я это решил: вот сейчас я шевельну рукой. Я не имел к этому ни-

какого отношения. Когда я попытался повторить движение, мне это не удалось. Сигналы, которые я хотел послать, не доходили. Но у меня есть рука. У меня есть кисть. У меня есть пальцы. Я существую.

Боже правый, которого нет, благодарю тебя.

Второй раз.

Это больше, чем просто конвульсия. Это воля, плетущаяся позади движения. Должно быть, моя собственная воля, даже если я её не чувствую.

Что-то изменилось.

Может быть, действие того средства, которое они мне вкололи, ослабевает. Или что уж там это было, чем они сделали меня беспомощным. Может быть, их методы не действуют долговременно. Теперь много чего может быть.

Странно, что может сделать такое маленькое изменение.

Надежда.

На сей раз это были ноги. Сначала левая, потом правая. Потом обе.

Мне показалось, что я слышу и звуки. Несколько раз удары, словно от дальнего грома, и потом тархтенье, как если бы воздух выходил из слишком узкой выхлопной трубы.

Что бы это могла быть за машина?

Теперь двигалась и левая рука. Согнулась, и пальцы...

Не может быть. Ведь мне же удалили левую кисть. Боли стали нестерпимы, и я решил пойти на операцию. Ведь не вообразил же я себе это.

Но я не вообразил и то, что почувствовал. Почувствовал совершенно отчётливо.

Пальцы.

Если чувства слишком долго голодали, они извлекут себе корм и из воспоминаний.

Снова. Я чувствую кисть, которой не существует.

Мою кисть.

11

Сойти с ума – это не про меня. Мой разум функционировал всегда. Это вопрос характера. В мыслях следует поддерживать порядок. Не перепутать выдвижные ящички.

Битвы Тридцатилетней войны. Союзных монархов германской империи. Притоки Рейна.

Всё это здесь, у меня в голове. Как следует разложено по полочкам.

Биномическое правило, $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$. Всё на месте.

Но.

Я почувствовал кисть, которой не существует.

Больше не воспринимать мир правильно – это знак слабости. Если ты довёл человека до этого, ты победил.

Пусть я в их власти, но я не слаб. Я знаю точно, что у меня есть только одна кисть.

Я это знаю.

А что, собственно говоря, они делают в больницах со всеми теми частями тела, которые им пришлось удалить? Об этом я никогда не думал. Их зарывают в землю? Сжигают? Или просто выбрасывают?

В университетских городках, я допускаю, их используют для обучения. Тот, кому моя кисть досталась для анатомирования, спрашивал ли себя, какому человеку она могла принадлежать? Какой профессии?

Он не найдёт ответа. Во мне нет ничего внешнего, что могло бы указывать на мою профессию. Но мне часто говорили: у меня кисти музыканта.

Были.

Должно быть, кажущееся прикосновение было формой воспоминания. Ничем другим я не могу это объяснить. Воспоминанием, вызванным через контакт с культурой. Старый проводник, который больше никуда не ведёт, но всё же ещё может быть активирован. Ложное соединение. Думаешь, что чувствуешь что-то, лишь потому, что ожидаешь этого в определённой ситуации. Договоришься с кем-то о встрече – и тебе чудится, что вот он идёт. А это оказывается совсем не он.

Должно быть, это действие темноты. Из-за нехватки впечатлений рассудку приходится слишком многое восполнять. Лишение обостряет чувства. Но и путает их. Голодному всюду мерещится запах съестного.

Быть того не могло, как почувствовалось. Но мысль, что у

меня снова две кисти, приятна. Почему бы мне не позволить себе её, коли я не забываю, что это всего лишь иллюзия? Как утром приятно ещё досматривать остатки сновидения, хотя ты, собственно, уже проснулся.

Красивый сон.

У меня две кисти.

12

Голос.

Я услышал голос.

Мне почудилось, что я услышал голос.

Женский голос.

Он исторг крик, испуганный, но без страха. И потом что-то сказал, из чего я разобрал лишь последнее слово, «...зашевелился».

«Зашевелился».

Это мне тоже примерещилось?

Нет. То, что я услышал, что я вообще что-то услышал, хотя и неожиданно, но это имеет смысл. Это может означать только одно: за мной наблюдают. Чего, вообще-то, следовало ожидать.

Но почему женщина? Это не женская профессия. У них слишком много сочувствия, это мешает.

Сперва я услышал её голос, а потом голос мужчины. Он был на отдалении, и я не понял, что он сказал.

Я это слышал. Я совершенно уверен.

С другой стороны: если голова что-то воображает, не может же она одновременно воображать, что это действительность?

Чтобы не совершить ошибки, я должен исходить из того, что это была не галлюцинация. И что-то новое: они больше не стараются скрыть от меня, что я под охраной. Больше не выдерживают акустический карантин. Что может означать только одно: они подготовились к тому, чтобы дать мне проснуться. Отменили свой наркотик или что там у них, уменьшили дозу, почём я знаю. Постепенно я снова чувствую моё тело. Ещё не вполне и ещё неверно. Восприятия странно смещены. Если бы я не знал, что этого не может быть, я бы мог по-прежнему поклясться, что я не дышу. И мои собственные пропорции, как я их ощущаю, не подогнаны друг к другу. Голова кажется слишком большой, а руки слишком короткими. Сердце бьётся слишком часто.

И я ощущаю кисть, которой нет. Так что их тактика – привести меня в замешательство – не осталась бездейственной.

Но они не рассчитывали на то, что ситуация окажется знакома человеку. Что он знает, чего ему ждать. Внезапный яркий свет. Громкие шумы. Уддры. Я всё это предвижу. Лучше, чем кто-либо другой.

Если они будут бить, я закричу. Желание подавить рефлекс будет стоить ненужной затраты сил. Однажды я присутствовал при том, как один откусил себе кончик языка из

чистого геройства.

Естественно, я закричу. Я буду визжать и стенать, но всё равно буду оставаться Андерсеном.

Андерсеном и никем другим.

13

Они могут спрашивать меня о чём угодно. Я знаю все ответы. Фамилия? Андерсен. Имя? Дамиан. Родился? В 1903 году, 26 сентября. В католическом календаре на эту дату приходятся Косма и Дамиан. Я выбрал для него этот день – для себя! для себя! – потому что легенда про них обоих кажется мне такой подходящей. Забавным образом подходящей. Их топили, сжигали и побивали камнями. А они из всего этого вышли целыми и невредимыми. Как и я выдержу любой допрос. Естественно, под самый конец – а этого, пожалуй, не избежать, если хочешь канонизироваться в святые, – им всё же отрубили головы. Но я не потеряю голову. Я не сделаю ошибки. Какие бы методы они ни применяли. Я работал над Андерсеном что твой скульптор над статуей. Кто хочет стать другим, тому нельзя идти лёгким путём. Новое существование должно сидеть как костюм, который носишь уже много лет. Я влил в себя его историю так основательно, что она уже реальнее реальной. Пусть спрашивают о чём угодно.

Родители? Бенедикт и Вальбурга. 11 июля и 4 марта. Дни

рождения отца и матери надобно знать. Поздравляем-поздравляем, счастья-радости желаем. Новый год, новый год вам здоровья принесёт. Нет, господин дознаватель, обоих уже нет на свете.

Соседи? По одну сторону семья Штрук, по другую господин Гроскопф. Вдовец. На допросах я всегда спрашивал про соседей. И если они медлили, я сразу знал: ага! Это деталь, которую многие забывают себе выдумать. У Гроскопфа я ещё мальчишкой выучился доить корову. Если им придёт в голову перепроверить это, я могу им продемонстрировать. Даже с одной рукой. Нельзя на допросах заявлять о своих умениях, которые не можешь подтвердить. Кто выдаёт себя за электрика, должен уметь устранить короткое замыкание. Я выбрал себе дойку, потому что это совсем никак не подходит к моему прежнему существованию. В последний год, когда уже было видно, чем кончится война, я каждый день ходил упражняться в хлев. Моим людям я говорил, что мне это необходимо для снятия напряжения. Они мне верили. В нашей профессии необходимо расслабляться.

Андерсен умеет только практические вещи. Вот и всё его образование. В деревне не особо соблюдалось обязательное школьное образование. Если кто покрепче, а у родителей нет денег, его посылали работать.

Политика? В этом Андерсен ничего не понимает. Есть те, что внизу, и те, что наверху, вот и вся его философия. Он всегда принадлежал к тем, что внизу. Никогда не был в пар-

тии, а зачем? С нашим братом они что хотят, то и сделают.

Мировая история? Мы и другие. Они начали войну против нас, и мы её проиграли. Я на этом лишился руки.

О да, я знаю его до нитки. Я обустроился в его голове. Я обустроил его в своей голове.

Андерсен.

14

Слёзы?

Слёзы.

Я плакал. Меня охватили чувства.

То была музыка.

Это не было воображением. Воображаемые звуки звучали бы иначе. Чище. Тона, которые слышал я, были глухими, как будто в ванне держишь уши под водой.

Но то была музыка. Однозначно музыка. Моцарт. *Симфония Юпитер*.

Мне всё равно, было ли это воображением. Я знаю, что я слышал. Первую часть. *Allegro vivace*.

Худшее в войне то, что больше нельзя пойти в концерт. Радио не то же самое. Не для культурного человека. Тем более, когда знаешь, как это должно звучать на самом деле.

Симфония Юпитер. Почти вся первая часть. Потом музыка прекратилась, так же внезапно, как и началась. Но в моей голове она продолжала звучать.

До-мажор. «Бодро-напористо» называл эту тональность старый Рёшляйн. Когда мне приходилось на скрипичных уроках играть ему швабский танец, он задавал мне этими словами такт в три четверти. «БОД-ро-на-ПО-ристо, БОД-ро-на-ПО-ристо». ТАМ-тамтам, ТАМтамтам. Притопывая при этом ногой, однако не делая шума. Он и на уроках носил войлочные тапочки.

Не то чтобы хороший педагог, Рёшляйн. Но всё-таки: он научил меня владеть инструментом, хотя я так и не стал большим умельцем. Мальчишкой был слишком ленив, а позже не хватало времени. Но кое-что другое из его уроков сослужило мне в профессии хорошую службу. Тональность – вот главное, проповедовал он.

Каждый человек имеет свою тональность.

И Андерсен будет любить музыку, но такому человеку, как он, меньше нравятся хрупкие инструменты вроде скрипки. Кто родился на куче навоза и вырос в хлеву, не знает скрипичных концертов. В лучшем случае губная гармоника.

Из всех вещей, какие мне пришлось оставить, скрипку мне жальче всего. Хотя я никогда не мог на ней играть, с одной-то рукой. Только струны пощипывали представлял себе тон смычка. Настоящий Эгидиус Клотц. Я её тогда выменял на жизнь её владельца, и он был мне благодарен за это. На коленях благодарил. Мне пришлось её оставить. Она лежит там в своём футляре, в своём ложе из красного бархата, и ждёт нового хозяина. Сумеет ли он оценить её звучание? Со

скрипкой нельзя обращаться грубо, иначе она не поёт.

А вот с людьми наоборот.

Симфония Юпитер. Если это и была галлюцинация, я благодарен за неё своему мозгу.

15

Музыка снова и снова. Может быть, всякий раз в одно и то же время. Этого я не знаю. Я то и дело засыпаю, а тишина, когда я бодрствую, перемешивает часы в бездвижную трясину.

Но: музыка.

Сплошь знакомые мелодии. *Времена года*. *Бранденбургский концерт*. Другие классические вещи, которые кажутся мне знакомыми, даже если я не могу их назвать.

Не всегда полные композиции. Бывает, что музыка обрывается посреди такта. Я совершенно уверен, что это не выуженные из воспоминаний воображаемые концерты. Иначе бы все они звучали одинаково или похоже. Фантазии состояются из осколков известного.

Но однажды я услышал музыку совсем другого рода. Пока только раз. Звуки, о существовании которых я и не подозревал. Чужеродные. Быстрая молоточная дробь, как будто барабанные палочки попадают не по коже, а по металлическому ободу. И к этому – в том же размеренном такте – постоянно повторяющаяся короткая мелодия, наигрываемая на ин-

струменте, который я не мог определить. Очень низкие тона, которые ощущаешь всем телом. Как чувствуешь детонации, даже если они далеко. Ритмические детонации. Неприятно.

Эта музыка, подсказывает мне рассудок, должно быть, звучала на самом деле. Как раз потому, что она мне совершенно чужда. И если эти звуки были на самом деле, то и все остальные тоже были.

Вместе с чужеродной музыкой был слышен и новый голос. То ли мужской, то ли женский, я не мог узнать наверняка. Он – она? – говорил очень быстро, на непонятном мне языке. Можно было подумать: в такт барабану. Но и эта музыка оборвалась внезапно, а с нею смолк и новый голос.

Чаще всего я слышал женщину. Она мне уже прямо-таки знакома. Иногда она подпевает мелодии. Не всегда в тон. Она не очень музыкальна, как мне кажется.

Однажды, то было нечто барочное, с несколькими трубами, я мысленно ей подпевал. Как будто мы с ней пели хором.

И однажды я услышал, как мужчина – если это был тот же мужчина, я не могу быть уверен, – однажды я услышал, как он чётко сказал: «Ты правда думаешь, что это что-то даст?»

Он говорил о музыке или о чём-то другом?

И кто был «ты»? Женщина? И какое отношение к нему она имела?

Сколько же здесь людей?

Я начал лелеять надежду, и это было ошибкой. Болезнь, однажды вспыхнувшую, уже не одолеешь. Изнуряющая лихорадка. Лишь тот, кто ничего не ждёт, не будет разочарован.

Надежда мешает ясно мыслить. Из того факта, что они меня уже не так упорно ограждают, как в начале, я заключил, что эту ступень моей обработки они хотят закончить в скором времени. Это не оправдалось. Кажется, у них и не было намерения допрашивать меня сейчас.

Я пытался разгадать их поведение, и это было неправильно. Я знал о них слишком мало. Никак нельзя сказать с уверенностью, в чьи руки я попал. Враг не один.

Решающий факт: я всё ещё в заточении. Вокруг меня по-прежнему темно. Даже если темнота – по крайней мере, мне так кажется – уже не абсолютна. Иногда здесь бывает что-то вроде догадки о свете. Если бы мне пришлось это описывать – но кто меня об этом попросит? – то я бы сказал: красноватая тьма.

Из позитивного: паралич, от которого я страдал, постепенно отступает. Мои конечности двигаются. Они делают это и по моей команде, даже если я не могу их точно контролировать. По крайней мере: когда я думаю «пальцы», я замечаю, как они реагируют.

Правда – и это заставляет меня сомневаться в собствен-

ном восприятии – кажется, это делают и пальцы той кисти, которой у меня больше нет. Руки сгибаются и распрямляются. Ноги шевелятся. Иногда – и для этого у меня тоже нет объяснения – они натываются на препятствие, но это не стена и не решётка. Податливое препятствие. Эластичное.

Стена из резины? Это могло бы означать, что я совсем не в тюрьме. В клинике? Успокоенный наркотиками?

Я не сумасшедший.

Я могу двигаться, но это не естественные движения. Как будто я нахожусь под водой.

Я не могу быть под водой. Последствия были бы совсем другие. В этом я разбираюсь. Кладут на край ванны доску, к ней накрепко привязывают объект и погружают его голову в воду. Поначалу они пытаются задерживать дыхание, потом впадают в панику. Чем дольше длиться это состояние, тем разговорчивее они становятся после этого. Эффективнее всего, когда их извлекаешь в самый последний момент, перед тем, как они потеряют сознание. Дать им схватить ртом воздух и тут же снова погрузить в воду.

И больше нельзя думать об этих вещах. Никогда больше. У Андерсена не было ничего подобного.

Занять голову чем-то другим. Единица – простое число. Двойка – простое число. Три. Пять.

По пять пальцев на каждой руке. Сосредоточиться на цифрах.

Семь. Одиннадцать.

Тринадцать – несчастливое число.

Моя мать была суеверна. Если рассыпала соль, то брала щепотку и бросала через левое плечо.

Не моя мать. Мать Андерсена. Вальбурга Андерсен. Родилась 4 марта. Тебе на радость.

Простые числа.

Семнадцать. Девятнадцать. Двадцать три.

23 октября – день рождения Фридерике Мюленбах. Невесты Андерсена. Моей невесты. Я подарил ей крестик. Может, он был на ней, когда бомбардировщики...

На этом месте у меня откажет голос.

Всё чаще у меня такое чувство, будто я плачу, но не могу почувствовать слёзы на лице. Ещё одна странность.

Двадцать девять. Тридцать один.

От Бойтлина застряло в памяти больше, чем можно было ожидать. Он нам рассказывал, что ещё никто не нашёл формулу, по которой наперёд высчитываются простые числа. Но наоборот можно у любого числа узнать, простое ли оно. У некоторых сложно, но выявляется это всегда. Это очень человеческие числа.

Тридцать семь. Сорок один. Сорок три. Сорок семь.

Мне сорок семь лет. Андерсена по документам я сделал на пять лет моложе. Кто всю жизнь занимается физическим

трудом, изнашивается быстрее. Всё надо учитывать.

Всего сорок семь. У меня в запасе ещё много времени. Говорят, это лучшие годы. Лучшими они не станут. Но все будут мои.

Если мне удастся убедить их в Андерсене.

Разумеется, мне это удастся. Я всё продумал.

Пятьдесят три. Пятьдесят девять.

Стоп.

Мне следует привыкнуть думать только о таких вещах, о каких думал бы Андерсен. Он не может знать, что такое простые числа.

Клички коров в хлеву у вдовца Гроскопфа.

Эрна. Анна. Пеструха.

18

Между этими двумя, мужчиной и женщиной, что-то происходит. Какая-то разборка. На слух похоже, что он её бьёт. При каждом ударе он всхрипывает от напряжения.

Я никогда не ценил коллег, которые бьют, прилагая много усилий. Это знак недостаточной точности. Это всё равно, что забрасывать гранатами там, где управился бы один снайпер.

Расточительство.

Женщина кричит. Короткими, тонкими вскриками.

У меня нет чувства времени, но эта сцена кажется мне бесконечно долгой. Он дышит всё тяжелее, а она кричит.

Между тем её голос я уже хорошо знаю. Мы пели вместе.

Если мы действительно на корабле – но может быть, я неверно толкую этот пункт, – то порт мы, должно быть, уже покинули. Волны стали сильнее.

Крики женщины следуют друг за другом всё быстрее.

Неужели это из-за меня? Они не смогли договориться, как поступить со мной? Но бить из-за этого? Им следовало бы знать, что я уже могу всё слышать.

Или они делают это специально? Я должен стать свидетелем их ссоры и сделать из этого неправильные выводы? Мы тоже так иногда поступали. Устраивали между собой разборку, чтобы один из нас казался особенно грозным. Тогда другому, который играл более слабого, автоматически перепало больше доверия. Старый трюк.

Может, и эти разыгрывают передо мной нечто такое?

Последний, протяжный крик женщины, скорее стон. Дыхание мужчины – должно быть, он где-то очень близко, если я его так хорошо слышу – постепенно успокаивается.

И потом – тишина.

Волны снова стали мягче.

Потом они заговорили.

«Было хорошо». Это голос мужчины.

Хорошо?

«Очень хорошо». Голос женщины.

Этого я не понимаю.

«А ты уверена, что ему это не вредно?»

Ему? Это мне?

Женщина смеётся. Только что кричала, а теперь она смеётся. «Совершенно уверена», – говорит она.

Теперь смеётся и мужчина. В какой-то момент его дыхание опять учащается. Женщина снова начинает кричать.

19

Был один из тех снов, которые длятся и после пробуждения. Картинки въелись в меня и не отпускают. Собаки-ищейки, которые взяли след беглеца.

Будто я нахожусь в просторном помещении с тяжёлыми резными балками под потолком и знаю, как знаешь такие вещи во сне, что это музей. Художественная галерея. Но я там не посетитель, а выставочный объект. В меня – а я лежу на спине – вогнали длинный штырь и пригвоздили им к подиуму. На цоколе подиума – это я тоже знаю – прикреплена табличка с объяснением, но штырь, который, кстати, не причиняет мне никакой боли, не позволяет мне прочитать надпись.

Чужие люди, мужчины и женщины, с любопытством склоняются надо мной. У них на глазах театральные бинокли, закреплённые на оправе. Такие оперные окуляры. Некоторые ощупывают меня, надев для этого тонкие перчатки, как Дядя Доктор при осмотре трупа.

Все эти зрители больше меня, не великаны, а вполне обычные люди, из чего я делаю вывод – когда видишь сон,

все выводы кажутся логичными и естественными, – что это я сам, должно быть, скукожился, и это изменение моего тела как раз и есть причина, по которой я тут выставлен в качестве курьёза.

Кажется, это праздничное открытие вернисажа. У посетителей в руках бокалы с шампанским. Над всем царит типичный для таких случаев гул голосов, преувеличенная радость людей, которые беседуют не для того, чтобы что-то сказать друг другу, а потому что беседа обозначена в программе.

Один из посетителей выставки – ещё до того, как он раскрывает рот, чтобы что-то сказать, я уже определённо знаю, что он глуп, – спрашивает: «Итак, это и есть Андерсен?» На что все начинают смеяться язвительным, всезнающим смехом, и объясняют ему, что Андерсен умер, уже навеки, и что только необразованный невежда может задавать такие вопросы.

Потом все посетители выставки переместились к другому аттракциону, только я так и остался лежать на спине совсем один. Надо мной, на большой высоте, висела люстра со множеством сверкающих кристаллов. Она медленно опускалась ко мне, но была уже не люстра, а подвеска над детской кроваткой, и если бы мне удалось поймать шнурок, а это я тоже откуда-то знал, всё бы снова стало хорошо.

Но я не мог его поймать.

Точно такая же подвеска, я вспомнил лишь теперь, была у меня в детстве и висела над моей кроваткой. Шнурок по-

рвался, и подвеска кренилась на одну сторону. Мой отец часто обещал её починить, но у него никогда не доходили руки.

20

Мне нельзя допускать такие сны. В моей голове не должно происходить то, что не могло бы происходить в голове Андерсена. Я должен дисциплинировать свой мозг и в этом пункте.

Выдумать себе нового человека легко. Куда труднее забыть старого.

Я должен закопать моё прежнее Я в самом дальнем уголке мозга, так глубоко, чтобы и сам больше не смог найти. Запереть на замок и потерять ключ. Возвести заградительную стену, прочную, непрозрачную стену и замуровать за ней всё, что входит в состав моего старого Я. Спрятать его не только от других, но и от себя самого. Пирамида, в которой никто не сможет найти мумию минувшей жизни.

Ходы, ведущие в никуда. Ловушки.

Мне позволено думать только так, как думал бы Андерсен. Чувствовать как Андерсен. Видеть сны как у Андерсена.

Что может сниться моему гомункулу?

Такому, каким я его выдумал, фантазия не породит сложных картинок. Любой сон как калейдоскоп. Во всё новых картинках отражается только то, чем жизнь успела наполнить картонную трубку. Кому в узор памяти не попал голу-

бой камешек, тому не привидится в мозаике его снов голубое небо.

Андерсену будут сниться простоватые сны. Пахнувшие навозной кучей. Может, в них появится женщина – первая, расстегнувшая ему ширинку. Она была старше него, представляю я себе, и это была деловитая случка, по-быстренькому в соломе или за сараем. Он при этом не сплоховал. Кто всю жизнь имеет дело со скотом, тот знает толк в таких вещах. Легко представить, что и годы спустя это ещё будет ему сниться. Или он будет летать во сне. Это подошло бы такому человеку, прочно привязанному к земле. Он парит над крышами своей деревни и совсем невесом. Может, он видит стаю птиц, улетающих на юг, и они приглашают его с собой. Он хотел бы примкнуть к ним, но не может их догнать.

Или он видит во сне войну. Война снится каждому.

Ну или, это было бы самым естественным, его машина сновидений выплёвывает какое-то детское воспоминание. Его отец, так я себе представляю, был суровый человек, не злой, но такой, которого жизнь научила брать с собой палку, чтобы стадо не разбежалось. Может быть – так я себе рисую, – в его снах появляется эта палка и занесённая рука отца, и он хочет убежать, а ноги не сдвигаются с места, и он с криком просыпается.

Или он вообще не видит снов. Заваливается вечером в тупое изнеможение, а утром снова выбирается из него, без какого бы то ни было воспоминания о ночных похождениях

или ужасах. Если спросить, что ему снилось, он посмотрит на тебя непонимающе и скажет: «Я спал».

Боюсь, когда я окончательно стану Андерсеном, мне будет скучно.

21

Кое-что случилось – или я себе вообразил, что оно случилось, – чему я не нахожу логического объяснения. Нечто, чего не может быть.

Я должен это обдумать. Спокойно обдумать. Без волнения.

Мне удалось свести обе мои руки. Это и само по себе было необычно, поскольку мои конечности по-прежнему во многом двигаются вне моего контроля. Но что после этого произошло...

Спокойно, спокойно.

Я ожидал нащупать культю моей левой руки. Но там была совсем не культя. Там были пальцы. Совершенно однозначно пальцы.

Там была кисть. Что-то вроде кисти.

Этого не могло быть, но это было так.

Касание – стыковка, если угодно – длилась недолго. Потом руки снова разошлись – помимо моей воли – и всё было позади.

Но я успел ощутить. Мне казалось, я ощутил. Я совершен-

но уверен, что я это ощутил.

Пальцы и всё же не пальцы. Неправильные пропорции. Пять смешных, коротких пеньков. Но они шевелились.

Если бы я был сумасшедшим, разве бы я тогда не вообразил себе полноценную кисть?

У меня всегда были крупные ладони, ещё с детства. Когда я начал брать уроки скрипки у Рёшляйна, тот сказал, что мне было бы лучше стать пианистом. Уже тогда я мог бы охватить целую октаву.

Мыслить логически.

То были недоделанные пальцы. Такими они казались на ощупь. Зачатки пальцев.

Есть живые существа, саламандры или ящерицы или как там они называются: когда им отрывают хвост, у них вырастает новый.

Но ведь не у людей же.

Думать до конца.

Может, они – кто бы они ни были – превосходят нас и в этой области? Может, они разработали метод, позволяющий активировать эту способность у всех живых существ? Может, моя кисть отрастает заново?

Можно было бы даже представить себе – но представить себе можно всё что угодно, – что я вовсе не узник тюрьмы, а нахожусь в лаборатории. Что меня сделало для них интересным не какое-то подозрение, а всего лишь отсутствие кисти. Что всё это род эксперимента. Это было бы мыслимо...

Я не хочу так думать, чтобы не впасть в панику.

Я не хочу так думать.

Теперь левая кисть коснулась правой. И здесь тоже: пеньки.

22

Недоделанные пальцы. словно ещё не отросшие щупальца каракатиц.

Не думать об этом.

На обеих кистях.

Как будто они встретились где-то в море – и испытующе друг друга ощупывают.

Если существует оптический обман, должен существовать и осязательный. «Потому что того быть не может, чему никогда не бывать». Я всегда любил это стихотворение.

Но...

Мне надо прекратить искать объяснения. Если чесать больное место, оно только воспалится. Надо иметь силу воли его игнорировать.

Думать о чём-нибудь другом.

Как будто у меня две крошечные кисти.

Не думать о ладонях. А если думать, то не о моих.

Я знал одного человека, кисти которого были отлиты в бронзе. Можно было их купить в универмаге, в музыкальном отделе. Можно было положить их дома на пианино, рядом с

бюстом Моцарта или Бетховена.

Он был пианист, очень известный человек. Госпремия, почётные медали, то-сё. Его имя знали даже люди, которые вообще не интересовались музыкой. Звезда. У меня у самого были его пластинки. Моцарт, соната ми-бемоль мажор, вместе с одним итальянским скрипачом. Очень хорошо сыграно, разве что чуть-чуть механически. Особенно в первой части слишком быстро. Как будто они торопились, чтобы уместиться на одной стороне пластинки. Но блестяще.

Он застраховал свои кисти, за сто тысяч или за миллион, какая-то безумная сумма, которая должна была главным образом послужить рекламе. Интересно, выплатили бы они ему страховку, если бы он не повесился сам?

Из-за своей известности он считал себя неприкосновенным. В одной гастрольной поездке стал курьером для одной антигосударственной группы и вёл себя при этом очень подилетантски. Переоценил своё хитроумие. Ему дали доиграть его концерты и взяли только, когда он вернулся в страну. Впервые сидя передо мной, он был ещё заносчив.

Речь шла о его контактах, о людях, по заданию которых он действовал. Он хотел сыграть молчаливого героя, думал, наверное, что для него закон не писан.

Кисти пианиста.

Я положил перед ним его отрезанный средний палец и поставил на граммофоне «Molto Allegro» Моцарта. Он рассказал нам больше, чем мы хотели знать. Все имена. Всё вооб-

ще. Потом повесился в своей камере.

Я разрешил не отнимать у него ремень, как полагалось по предписанию. Он был действительно великий музыкант. Разве чуть-чуть иногда механичен.

23

Я стараюсь избегать соприкосновения моих рук.

Я боюсь и того, и другого: что кисть действительно есть. И что её нет.

Своим телом я владею всё лучше. Оно уже многое делает так, как я того хочу.

И слух с каждым днём становится острее. Вот только что я слышал женский голос. Не тот, который я уже знаю. Другой.

Не так-то просто – из одного звучания голоса сделать более-менее надёжные выводы, но в одном я уверен: вот говорит пожилой человек. Седовласый голос. «Сейчас», сказал он. И ещё раз: «Сейчас». И потом: «Вот так вы можете его очень хорошо разглядеть».

Неужто они говорят обо мне? Они наблюдают за мной? Как они это делают, совсем без света?

Но это звучит не как деловой, служебный разговор. Разве они не понимают, что я могу их слышать? Они забыли про это или для дела так и надо? Неважно. Мне нельзя пропустить ни слова. Малейшие обрывки информации могут быть полезны.

Ничего. Снова всё стихло. Очень долгая тишина.

Потом наконец – тоном, который я бы назвал робким – вопрос: «А это его...?»

Другой, чужой голос смеётся. «Да, – говорит он. – Очень мужественный, нет?» Теперь смеются они обе. Звучит счастливо.

Чужое счастье означает, что контроль – в руках других.

«Он, наверное, сейчас спит, – говорит голос, который я знаю. – Обычно он шевелится гораздо больше».

«Может, он просто позирует, когда его фотографируют», – сказал другой голос. Они опять смеются.

Я ненавижу чужое счастье. Меня это приводит в такую ярость, что я моментально даю пинка.

«Вы это видели? – говорит чужой голос. – Это была его нога».

Случайность? Я вытягиваю руку.

«А это рука», – говорит она.

Нога. Рука. Нога. Рука.

«Теперь он танцует».

Надо, чтоб они прекратили смех.

Теперь я снова слышу знакомый голос. Тот голос, с которым мы вместе пели. «Это чудо», – говорит он.

«Это прогресс, – говорит другой голос. – В конце концов, мы живём в двадцать первом веке».

В двадцать первом?

Должно быть, я ослышался.

Если бы я знал, как мне вступить с ними в контакт, я бы сейчас сказал: «Я сдаюсь».

Я попытался крикнуть, но моё тело, кажется, больше не знало, как это делается. Так мне и надо. Всё так и должно быть.

Никогда бы не подумал, что бывает такое состояние. Когда у человека начинаются галлюцинации, в этом я всегда был твёрдо убеждён, то сам он не знает, что галлюцинирует. Тогда он видит только то, что воображает себе. Как тот человек со змеями. Он пробыл у нас в разработке всего четыре дня и вдруг всюду начал видеть змей. Ядовитых змей. Чувствовал их на своём теле. Мог описать, как они ползают по его лицу, заползают ему в рот, в глотку. После этого из него уже нельзя было вытянуть ничего вразумительного. Все усилия пошли прахом.

Но – а у меня это совсем иначе – в нём больше не было ни малейшего уголка, в котором он осознавал бы, что всё это лишь воображает себе. Не было в его голове того голоса, который нашёптывал бы ему: «Такого никак не может быть». Для него были только эти змеи и больше ничего в мире.

Я ему завидую. Самое худшее – терять рассудок и при этом знать, что теряешь рассудок.

Я воображаю себе вещи и при этом знаю, что они – лишь

моё воображение. Я чувствую ладонь и знаю, что её не существует. Я слышу про двадцать первый век и знаю, что такого быть не может. Вещи кажутся мне реальными, и вместе с тем мой рассудок говорит мне, что они лишь продукт моей фантазии. Мои недогруженные мозговые клетки – это было бы возможным объяснением – пытаются из нехватки чувственных впечатлений сделать слишком обширные выводы.

Одна часть меня знает, что другая часть ошибается. Поэтому что никак не может быть того, что она...

И тем не менее.

«В двадцать первом веке», – сказала она. Это означает...

Не поддаваться образам. Борьба с ними. Сосредоточиться на вещах, которые ясны и несомненны. На нейтральных вещах. Для чего ты так много нагромоздил в своей памяти, если в трудные времена не можешь воспользоваться этим аварийным запасом?

«Кто скачет, кто мчится под холодной мглой?»

Почему именно это стихотворение сейчас пришло мне в голову?¹ (Гёте. «Лесной царь». В переводе В.А.Жуковского (Прим. перев.))

«Родимый, лесной царь в глаза мне сверкнул».

Я не хочу это видеть.

«Ездок погоняет, ездок доскакал...»

¹ Гёте. «Лесной царь». В переводе В.А.Жуковского. (Прим, переводчицы).

Гёте.

Родился в 1749 году во Франкфурте, умер в 1832 году в Веймаре. Веймар лежит на Ильме. Ильм впадает в Заале. Заале впадает в Эльбу.

Моя память функционирует. Я мыслю логично. Иначе я не мог бы заниматься своей профессией. Мой рассудок – это вычислительная машина, которая выдаёт безошибочные результаты.

Выдавала.

Не может быть того, в чём моя голова пытается убедить меня.

«В руках его мёртвый младенец лежал».

«Это прогресс», сказал седовласый голос. Если я не ослышался. Если я не вообразил себе это.

Должно быть, я вообразил себе это. Или неправильно понял.

Двадцать первый. Этого не может быть.

«Кто скачет, кто мчится».

Эльба впадает в Северное море.

Год, число которого начинается с цифры 2. Это означало бы...

Я родился в 1898 году.

Она не могла такое сказать. Никто не мог сказать такое.

Это не имеет смысла.

Но моя голова, моя беспощадно логичная голова настаивает на этом. «Это объяснило бы, почему ты не дышишь, – говорит она. – Почему ты не бываешь голоден. Это объяснило бы, почему у тебя две кисти. Две кисти с крошечными пальчиками».

«В руках его мёртвый младенец лежал».

Был мёртвый.

Снова перестал быть мёртвым.

Это логично, но логика сейчас кажется мне чужим языком. Диалектом племени, к которому я не принадлежу.

Больше не принадлежу.

Это мыслимо. Всё мыслимо.

Если бы это ещё не подходило друг к другу столь соблазнительно. Но я не хочу в это верить. Я даже думать об этом не хочу.

Заале – приток Эльбы. Ильм – приток Заале. Веймар лежит на Ильме.

«Дитя, что ко мне ты так робко прильнул?»

Дитя.

26

Если раздумья не имеют смысла, в этом повинен тот, кто их думает.

Я не могу верить тому, что я думаю.

А вдруг это всё-таки правда?

Туда и сюда. Вечно туда и сюда. Это разрывает мне мозг.

Если мозг – то, чем думают. Чем вспоминают. Может...

Будь это так, как мне видится, здесь должен быть ещё и другой механизм. Тогда можно было бы объяснить...

С другой стороны...

Будь это так, как мне подсказывает мой свихнувшийся рассудок, если, если, если, тогда я вовсе не в заточении. Тогда те люди, голоса которых я слышу... Тогда я...

Даже если это безумие, это всё же какой-никакой метод.

А так бывает? Терять рассудок и при этом всё ещё цитировать Шекспира?

Допустим, исключительно ради аргумента, только в качестве игры мысли, допустим, что мы действительно имеем сейчас 2000 год. Некий год, который начинается с двух тысяч. Тогда я должен был бы давно умереть. Тогда я был бы мёртвый. Но я жив. Я знаю, что я жив. Я мыслю, следовательно, существую.

Шекспир и Декарт. Очень прилично образован для мертвеца.

Допустим, существует что-то вроде повторного рождения. Я никогда в это не верил, но это ничего не доказывает. Осталось вообще не так много из того, во что я когда-то верил. Допустим, человек живёт много раз. Допустим, у него есть душа. Что бы она собой ни представляла. Допустим, природа, всемирный дух, господь Бог, ну, не знаю, допустим, некая

высшая власть мыслит экономично и использует души повторно, снова и снова. Допустим...

Должно быть более простое объяснение.

Самое простое: я не сошёл с ума из-за того, что меня заточили, а меня заточили из-за того, что я сумасшедший. То, что ощущается как резиновая камера, на самом деле и есть резиновая камера. Голоса, которые я слышу, мне лишь чудятся. Это бы всё объяснило.

Почти всё.

Я не дышу. И это мне не чудится.

Я ничего не ем. Не могу припомнить, что бы я что-то ел. Или пил.

У меня растут пальцы там, где у меня не было кисти.

Если я не сумасшедший, тогда я... Тогда я...

27

От собственных мыслей не убежишь.

Я не сижу в тюремной камере. Это что-то другое. Вот эта женщина, голос которой мне уже так хорошо знаком. Которая со мной пела. Которая сказала: «Это чудо». И в этой женщине...

Только аргумента ради.

В этой женщине... В утробе этой женщины...

Я не дышу, потому что у меня ещё нет потребности в дыхании. Я не ем, потому что питаюсь через пуповину. Потому

что получил новое тело. С обеими кистями рук, пальцы на которых ещё не вполне...

Допустим, только ради аргумента, допустим, человек после смерти возрождается, всегда заново. Что его душа достаётся всякий раз свежему телу или выбирает его себе, что она вставляется в это тело как батарейка в фонарик, заново заряжается, свежес-мазывается или как уж там. Допустим, что я вставлен в такое тело. В тело, которое только возникает.

Старый Рёшляйн всегда говорил «con Embryo» вместо «con vrio» и всякий раз заново смеялся своей изношенной шутке. Блеял как коза. Старый Рёшляйн...

Додумать мысль до конца.

Если бы это было так, если бы это действительно было так, то я должен был до этого умереть. Тогда Андерсена больше нет в живых.

По крайней мере, это было бы логичным. Родился в 1898 году, последний раз родился, средняя продолжительность жизни, скажем, шестьдесят пять лет – это значило бы, что между кончиной и новым началом прошло, может быть, полвека.

Что могло произойти за это время? Только аргумента ради.

Если память привязана к душе, а не к телу, тогда воспоминания между одной жизнью и следующей всякий раз должны были бы стираться. Потому что иначе существования бы перепутались.

В монастырях средневековья – мы однажды обосновались в таком, потому что там были уже готовые камеры-кельи, – в писчих помещениях этого монастыря когда-то были специалисты, которые умели счищать с пергаментов написанное, выщелачивать чернила или выжигать их или как уж там, чтобы снова было куда записывать новые тексты. Когда всё уже исписано, ничего нового не запишешь. Бойтлин приходил в ярость, если на классной доске после тряпки ещё оставались следы ненужных предыдущих записей.

Должен быть какой-то механизм, устройство, машина, верховная власть, которая проводит тот же процесс над душами умерших. Измельчитель бумаги, уничтожитель воспоминаний.

28

Если действительно всё протекало таким образом, только аргумента ради, то почему это не сработало в моём случае? Это непорядок, что я помню себя. Я должен быть чистым холстом, ожидающим первых прикосновений кисти. Я имею на это право.

Я не должен бы знать даже, что такое холст.

И почему, если уж я себя помню, то почему только до того момента, когда я стал Андерсеном? Почему одна часть стёрта бесследно, а другая нет?

Вот как можно было бы это связать:

Я тогда твёрдо вознамерился спрятать всё, что было до Андерсена, заставить окончательно исчезнуть, даже от меня самого. Неужто мне это так хорошо удалось? Может, я потому и помню эту свою жизнь, что в последней жизни так основательно её забыл?

Это было бы представимо.

Потом мои воспоминания не были стёрты потому, что они их не нашли. Кто бы там ни были эти «они». Ангелы, черти, инопланетяне. Может, всего лишь машина, обслуживаемая приспешниками забвения. Стоят у конвейера душ и начисто отдраивают память. Андерсена они соскребли, счистили, смели прочь, измельчили его обломки, сожгли, растворили в кислотной ванне. От Андерсена не осталось ничего.

Но то, что было раньше, в то время, когда я носил совсем другое имя и вёл совсем другую жизнь, от них ускользнуло. Поэтому оно всё ещё прочно прилеплено к моей душе, как нагар на сковородке. Оно всё ещё часть меня, хотя ему уже давно нельзя быть частью меня.

Это представимо.

Если допустить, что моё Я, рождённое в 1898 году, дожило до семидесяти лет, да пусть всего до шестидесяти, то у него были в запасе целые десятилетия, чтобы упрятать все воспоминания о его изначальном существовании. Само знание о том, что вообще есть такой тайник. У меня было потом достаточно времени, чтобы нагромоздить сверху другие, искусственные воспоминания. Как заваливают труп ветками и

лиственной.

Поэтому они не заметили, что тут есть ещё что-то другое. Поэтому они не ликвидировали его, и поэтому я всё ещё помню его.

Тогда как от Андерсена осталось только то, что я замыслил о нём, прежде чем стать им.

Это на меня похоже: врать я всегда умел очень хорошо.

И теперь должен вспоминать, что когда-то был тем, кто наводил страх на других. Кто чего-то добился. А что я теперь?

Ничто. Неготовая кучка телесных клеток. Головастик.

Если это так.

29

Это так.

Представление удручающее, но я должен его принять. Если древо познания приносит только гнилые плоды, придётся давиться ими.

Я никогда особо не задумывался о том, как функционирует мир. Предоставлял это профессиональным болтунам, духовным лицам и философам. Зачем мне было ломать голову над вещами, которые нельзя ни доказать, ни проверить? Я практический человек и представлял себе практический универсум. Простой круговорот. Живёшь, пока не сломаешься, а потом перестаёшь жить. Без продолжения. Без «по-

сле того». Кто думает иначе, в этом я был убеждён, тот обманывает себя. Я всегда был горд тем, что обхожусь без самообмана.

Я ошибся. По другому части паззла не сходятся. Даже если мне не нравится картинка, которая из них получилась.

Я вышел из той двери. Андерсен вышел из той двери, шагнул в стёртое из памяти время, они меня схватили или не схватили, посадили в заключение или выпустили, так или иначе, я прожил жизнь как Андерсен, долго или коротко, я существовал как Андерсен, пока не износилось тело, старое тело, у которого была только одна кисть, разрушилось ли оно от несчастного случая или было съедено болезнью.

Должно быть, так оно и было. Чего-то такого я и ожидал. Прах во прах.

Только этим дело не кончилось. Карусель крутилась дальше. Кто ещё не накатался, кто хочет ещё раз? Пять кругов двадцать пфеннигов.

Ягнёнок-беее, глаза у которого увлажнялись всякий раз, когда он думал о том свете, однажды принёс нам на урок картинку, одну из тех оглупляющих картинок в пастельных тонах, на которой был изображён больной ребёнок в кровати, нет, не больной, а мёртвый, родители стояли рядом, отирая слёзы, а из груди ребёнка выпархивала вверх его душа в венце из света. На верхнем краю картинки уже ждали ангелы, чтобы воспринять её.

Хуже нет для меня, чем признать хоть в чём-то правоту

таких людей, как учитель по катехизису Лэммле.

Разумеется, не в отношении ангелов. Хотя никто не порхает по облакам на белых крылышках. Но вот душа...

Я должен подыскать для этого другое слово. «Душа» имеет затхлый душок воскурений.

Неважно, как я это назову, я должен привыкнуть к мысли: для меня начинается новый круг карусели. Я не выбирал себе лошадку, на которой теперь сижу, но мне придётся на ней скакать.

Хоп, хоп, всадник.

Если он падает, то кричит.

30

Логически мыслить до конца.

Если это так, я не могу быть единственным. Не я первый. Если это могло случиться со мной, должно было случаться и с другими.

Это объяснило бы многие необычные вещи. Вундеркиндов и гениев. Моцарт ещё маленьким мальчиком понимал в музыке больше, чем Рёшляйн в старости. Может быть, Вольфганг Амадей уже до этого был музыкантом, играл в придворной капелле на скрипке или на фортепьяно, может, его воспоминания о том, чему он обучился, по каким-то причинам не были стёрты, может, поэтому он смог начать с того, чем другие заканчивали.

Может, Моцарт был какой-то неисправностью системы.

Он умер молодым. Вполне мыслимо, что и это связано с тем же. Он был слишком блестящим, поэтому им бросилась в глаза неисправность, и они её устранили.

Кто бы ни были «они».

«Любимцы богов умирают молодыми», – это мне пришлось однажды переводить на уроке латыни. Боги? Тут я сомневаюсь. Почему в универсуме всё должно происходить не так, как у людей? Когда нижестоящая инстанция хочет замазать свою ошибку, она ссылается на вышестоящих. Спихивает ответственность выше по лестнице. «Я всего лишь подчинялся предписаниям», – говорят они в таких случаях.

Возможно, такие ошибки случаются чаще, чем можно представить. Они делают свою работу спустя рукава; или их машина изнасилась, кто их знает. По большей части это всего лишь мелкие недочёты. Один помнит наизусть стихотворение, которое никогда в жизни не учил, другой вспоминает ландшафт, где никогда не был. Небрежность. Уборщица поленилась заглянуть за шкаф и вытереть пыль как следует.

Как правило, такие мелкие отрывы от группы не бросаются в глаза даже тем, с кем случаются. Как нечаянный фальшивый тон не слышен в грохоте симфонического оркестра. Маленькие ошибки постепенно затемняются, как в кино царапины на плёнке. Или этому находится какое-нибудь безобидное объяснение.

Но иногда случаются и большие поломки. Как у меня.

Помнишь всю свою жизнь, да если даже и часть её. А главное: ясно понимаешь, что это воспоминание. Может, на карусели сидит много других людей, которые знают, что это у них не первая ходка. И стараются ни в коем случае не подать вида, что это так.

Быть осторожным. Не выдать себя. Кто бросается в глаза, тот создаёт трудности, а трудности надо сметать с пути. Моцарту было всего тридцать пять лет.

Quem dei diligunt, adulescens moritur. И это я тоже помню.

31

Adulescens. Молодыми. Я не уверен, что дотяну до молодого. Пока ещё я даже не родился. И уже нахожусь в опасности.

Если они – кто бы они ни были – обладают способностью стирать память, то они в состоянии и учуять её остатки. Воспоминания, которым здесь не место. У них, наверное, есть своя система. Оборудование. Методы.

Не думаю, что они постоянно контролируют каждого человека, это было бы слишком затратно. Но какие-то выборочные проверки они будут делать. Я всегда должен иметь в виду, что они сделают выборочную проверку.

Итак, нельзя, чтобы они застучали меня на воспоминании. Даже в мыслях. Когда я только нарожусь, я должен быть самым невинным, самым безобидным младенцем, ка-

кой только есть на свете.

Это я смогу. Разумеется, это я смогу. Никто не сделает это лучше меня. Я раскрыл столько неправды, что сам научился, как эффективнее всего лгать. Моя последняя жизнь была лучшей подготовкой для такого задания.

Моя предпоследняя жизнь. Ведь я потом ещё был Андерсеном. Мне пришлось быть ещё Андерсеном. Хотя у меня ничего не осталось от его существования, кроме планов, которые я строил для него, когда выдумывал его для себя. То, что я вовсе ничего о нём больше не знаю, доказательство того, что эти планы сработали. Его воспоминания они стёрли. Но прошлое, которое он спрятал от мира, они не нашли. Считали за действительность ту роль, которую он играл.

Теперь начинается новая пьеса. С новой ролью, для которой мне не придётся подделывать документы. Выдумывать себе биографию. Я должен быть обыкновенным ребёнком – таким, как все остальные. Милым маленьким карапузом.

Ничем не примечательным.

Траляля.

Я должен как следует продумать это. Мысленно составить список; со всеми пунктами, на которые следует обратить внимание. Действовать систематически. Как я это делал всегда.

Впервые сожалею о том; что у меня никогда не было детей. Моя профессия...

Не вспоминать. У меня нет профессии. Я не знаю ни о

какой профессии. Тем более о той; которую имел.

Как ведёт себя грудничок?

Кричать и какать. Больше мне ничего не приходит в голову. Отвратительное представление. Но если я хочу выжить...

Если.

32

Я мог бы и покончить с этим. Прекратить это карусельное кружение. Мог бы сойти. Просто больше не подыгрывать. Рядом со мной один вылез в какой-то момент из окопа; встал во весь рост на виду даже покричал и помахал рукой; когда они не сразу его пристрелили. Мы тогда сочли его сумасшедшим; но; может быть; он был единственный разумный среди нас. Провёл свои расчёты; подытожил; и под чертой у него вышел минус. Не захотел больше выносить невыносимое.

Потом ему выстирали память и усадили его на следующую деревянную лошадку. Если он тогда рассчитывал на рай; на вечное блаженство и окончательное отсутствие проблем; то он получил ТО; что хотел. Одним махом избавиться от всего ужаса войны – что может быть более райским?

А я должен таскать за собой свой старый багаж? Действительно ли надо так с собой поступить? Позволить так поступить с собой?

Допустим; это было бы нетрудно – разом подвести черту. Действительно было бы достаточно встать во весь рост и по-

махать; как это сделал тогда он. Привлечь их внимание. «Алло; вот тут один; который ничего не забыл; всё помнит; ошибочный продукт; такой; что причинит вам неприятности». И тогда они...

Что?

Ну уж что-нибудь придумают. Частенько ведь случается, что ребёнок просто умирает в утробе матери. Ничего не поделаешь, нам очень жаль, удачи вам в следующей попытке.

Только чтобы для меня больше не было следующего круга. Если они заметят, что случилась поломка, они не будут долго мешкать. Ошибку лучше всего исправить, ликвидировав её. Сделав её никогда не бывшей. Устранив ошибочного индивида из оборота.

Больные деревья надо рубить, иначе они заразят другие.

«Непригоден для повторного применения», такой штамп поставят на мою душу. Отходы. Брак. Долой.

То, как я себе это представляю, не будет больно. Механизм, вызывающий боль, к этому моменту времени уже бы не действовал. Но это будет окончательно.

Абсолютно окончательно.

Готов ли я к этому?

Нет.

Я слишком любопытен. Я хочу пережить следующий ярмарочный круг. Даже если для этого мне придётся вынести эту недостойную ситуацию.

Что я знаю о развитии эмбриона? Очень мало. Почти ничего.

Я знаю, как он возникает. Сперматозоид проникает в яйцеклетку, клетки делятся, подрастают отдельные органы...

Но как это происходит в частности – понятия не имею. Я никогда не видел необходимости знать это в деталях. Чтобы доить корову, так я думал, я не обязан знать, как из травы получается молоко. Это не интересовало меня.

До сих пор.

Андерсен бы это знал. Не научные понятия и не латинские обозначения, но принцип. Образуются ли сперва лёгкие, а потом сердце или наоборот. В таких практических вещах он бы разбирался. Но Андерсен стёрт.

Всё длится девять месяцев, это я знаю. Три четверти года.

Когда щёлкнул выключатель и меня включили – не знаю уж, каким образом, – когда я начал что-то воспринимать, о чём-то думать – на каком месяце это произошло?

Понятия не имею. И с удовольствием бы подсчитал, сколько это ещё продлится.

На одном из наглядных пособий из учительской был изображён в разрезе беременный живот. Нам это казалось жутким.

Плод и эмбрион – это, собственно, одно и то же? Или есть

какое-то различие?

Недоделанный человек на картинке был с поджатыми ручками и ножками, как мы поджимали их, прыгая с трёхметровой вышки для проверки на храбрость. Мы называли это «бомбой».

Головой вниз.

Может, и я плаваю вверх ногами? Я не могу различать верх и низ. Кажется, это одно из тех чувств, которые разовьются позже.

Околоплодные воды. Странные слова.

Человеческий череп, это я где-то читал, слишком велик для родового канала. В ходе эволюции становился всё больше. Поэтому женщине больно природах.

Только ли женщине? А что при этом чувствуешь сам?

Может, это и хорошо, что впоследствии уже не помнишь таких вещей.

В одном докладе по радио какой-то профессор объяснял, что у человека есть врождённая способность забывать негативные моменты и вспоминать только позитивное. Не знал он практики. Очень даже легко позаботиться о том, чтобы человек не забыл неприятные вещи. Очень легко.

Не очень ли больно будет рождаться на свет?

Я тоже всегда занимался чем-то вроде родовспоможения.

Извлекал на свет божий то, что люди таили в себе глубоко припрятанным. Болезненный процесс, но необходимый. Признание – принадлежность преступления так же, как роды – принадлежность беременности.

У акушерок всё так же. Со временем крики уже не мешают. Принимаешь их к сведению лишь как указание на продвижение процесса вперёд. Думаешь, наверное: ну вот, сейчас, скоро. Вот уже и головка. Вот уже и начало признания.

Дознаватель и допрашиваемый – это совместная работа. В принципе люди хотят сознаться, это моё твёрдое убеждение. Болью ты даёшь им лишь оправдание, чтобы они смогли говорить, не стыдясь. Вот говорят, «носить в себе тайну». Сам язык всё правильно понимает. Таскаешь в себе тяжесть. Даже если наложил её на себя сам, хочется когда-нибудь от неё избавиться.

С беременностью, как я себе представляю, то же самое. Столько месяцев таскать с собой младенца – когда-нибудь это надоест.

Впоследствии, за это я готов идти на спор, женщина, в которой я сижу, будет ещё гордиться болями. Тщеславие страданий. В моей профессии это всегда пригодились. Они все считали себя героями и дожидаться не могли, когда же они расскажут кому-нибудь про свои подвиги. Неважно кому. Даже если это тот самый человек, который закручивал тиски на его пальцах.

Мы всегда говорили о тисках для пальцев, шутка, вошед-

шая в привычку. Хотя, конечно, никогда не применили бы такое старинное орудие пытки. Из любопытства я однажды его испробовал: вообще не эффективно.

Если правильно его приставить, это не должно быть долго. Хороший родовспоможенец причиняет минимум боли. Сотрудников, которые не хотели это понять, я как можно быстрее отстранял. Они задерживают производство.

Правда, одного из такого сорта я какое-то время держал при себе. Но это был своего рода эксперимент.

По-настоящему трудно приходилось тогда, когда человеку действительно не в чем было признаться. Когда все крики и стоны были бесполезны, потому что вообще не было того, что из него можно было бы вытянуть. Невесело, но этого не всегда можно было избежать. Проблема, которой не бывает у акушеров.

«Явиться на свет». Странная формулировка. К этому тебя подталкивают? По крайней мере, в моём случае это не соответствует. Я был на свете ещё до этого.

Только мне нельзя это показывать. Нельзя, чтобы они ещё при родах заметили по мне что-то необычное.

35

Однажды они привезли нам женщину на сносях. Она даже не могла самостоятельно выбраться из фургона, потому что уже всюю шли схватки. Дядя Доктор – не бог весть ка-

кой мастер своего дела, но для того, чем он занимался у нас, было вполне достаточно – должен был играть роль акушера. Он это делал впервые и волновался как девственница перед первым поцелуем. Но всё прошло хорошо. Не такое уж трудное дело оказалось.

Мы потом использовали новорождённого, чтобы заставить её говорить. Достаточно было только пригрозить ей, что мы что-нибудь сделаем младенцу – то был мальчик, насколько я помню, – и она уже была готова на всё. Пока она поставляла то, чего мы от неё хотели, ей даже было позволено кормить его грудью. Она говорила как водопад.

Такая новоиспечённая мать сделает для своего дитяти всё, это я тогда усвоил. Информация, которая мне наверняка ещё пригодится.

Допрос тогда продлился не слишком долго. Не так уж много она знала. Когда её потом увозили, она криком кричала. Потому что ребёнка ей с собой не дали, а ещё и потому, что у неё болела переполненная грудь. Её потом казнили, я думаю, а мальчика кто-нибудь усыновил. Заинтересованных было достаточно. По такому младенцу ведь не видно, откуда он взялся.

По младенцу не видно, откуда он взялся.

Всегда говорят об особой связи между матерью и ребёнком. Что мать узнает своё дитя из тысячи. Я считаю это пустой брехнёй. Если в больнице подменить двух новорождённых, матери точно также любят и того, кого им подсунули.

Они твёрдо убеждены, что находят в лице малыша огромное сходство с какими-нибудь родственниками. «Ну чисто дядя Фридрих!». Если, конечно, цвет кожи не сделает подмену очевидной.

Можно проверить это, намеренно подменив детей. Это был бы интересный эксперимент. И женщина, из которой я надеюсь в скором времени быть извлечённым, обнаружит во мне множество знакомых черт. Внешне, возможно, так оно и будет. Часть её и часть её мужа в моей внешности, пожалуй, будут. Но внутри...

В одной книжке с сагами, которые я читал в детстве, мне попало словечко «оборотень». Существо, которое с виду дитя, а в действительности нет. Родители его всё равно любовно пестуют, а из него вырастает чудовище.

Мать сделает для своего ребёнка всё.

36

Она мне совершенно чужая.

Я не знаю о ней ничего, кроме того, что она любит музыку, но не попадает в тон. Я и не хочу о ней знать больше ничего. Она мне не интересна. Ничего сверх самого необходимого.

Но, разумеется, мне придётся её изучать. Арестант должен знать своего стражника. У каждого человека свои слабости, которые можно использовать. Я это знаю. Я умею это. Своих способностей я не утратил, как и памяти. Я был луч-

шим в своём деле и остаюсь им.

Они ещё увидят это.

Будет совсем не трудно всё разведать. Прямо-таки до смешного просто. Ещё никогда шпион не находился в таком комфортабельном положении, как я сейчас. Она на сможет утаить от меня ничего. Совсем ничего.

Я уже и сейчас вынужден выслушивать её отвратительные интимности. То у неё в кишках бурчит, то она пердит пулемётной очередью. «Вы должны проникнуть в их головы» – так я всегда говорил своим людям. Ну да, а теперь это не голова, а утроба. Я сращён с её телом как нарыв. Впился в неё как клещ. Присосался как пиявка. С одной стороны, это мерзкое представление – быть так интимно связанным с совершенно чужим человеком. С другой стороны...

Она будет меня любить, эта дура-корова.

Так ведь другого она и не заслужила.

У меня нет причин думать о ней с дружелюбием. За это жалкое тельце, выделенное мне – как бы это ни происходило, кем бы ни распределялось, – в ответе она. Это она виновата в слабеньких конечностях, которые меня едва слушаются. Это она их сделала, крича при этом от наслаждения, стеная, мечась и потея. Я слышал, как она кричала, и думал, что её бьют.

Отвратительно.

От-врат-но.

Но я от неё завишу как лежачий больной от санитаря, как

наркоман от дилера, как приговорённый от палача. Я буду не в состоянии существовать без посторонней помощи. По крайней мере, поначалу.

Я не переношу этого – быть в зависимости. И никогда не мог переносить.

Я ещё даже не знаю, как она выглядит, а уже ненавижу её. Я всё в ней ненавижу. «Это чудо», сказала она, с этим глупеньким счастьем в голосе. Чудо? Это циничная шутка, которую кто-то со мной сыграл.

С человечеством.

37

Она будет себе воображать, что она моя мать. Я не могу это принять. Мне не нужна вторая.

А первая...

Не самая первая, наверное. Но с остальными сработало забвение.

Она давно в могиле.

Не то чтобы я так уж любил свою мать. Это только в книгах так. Романы, написанные для людей, которые не выносят действительности.

С любовью это не имело ничего общего. Просто привыкли друг к другу.

Она не была никакой выдающейся личностью. Слабое существо. Боялась сделать что-нибудь не так – страх, из-за ко-

того она становилась непомерно строгой. Не то чтобы я от неё страдал, так близко мы друг к другу никогда не приближались, но всегда была дисгармония, которая мне мешала. Я уже тогда слишком чувствительно реагировал на фальшивые тона.

Продукт массового производства. Как и большинство людей.

Внешностью не урод, но и не хорошенькая. Ничего заметного. Небольшой шрам на лбу, остаток старого пореза. По мере того, как я подрастал, она рассказывала мне о происхождении этого шрама всё новые истории. Когда я был маленький и ещё верил в сказки, она придумала ведьму, которая коснулась её лба своей волшебной палочкой. Позднее, в том возрасте, когда любят приключения, ведьму сменил лев, с которым ей пришлось бороться в джунглях и которого она, естественно, победила. Чем старше я становился, тем прозаичнее были объяснения. Под конец она упала, катаясь на коньках.

Но и тогда я ей не поверил. Кто-то попросту побил её. Должно быть, мой отец. Он был одним из этих бездарных тиранов.

У моей матери был свой особый запах – всегда одного и того же мыла, которым она пользовалась всю жизнь. На духи она не тратилась. Может быть, экономность заставляла её покупать именно это мыло. Потому что оно при наименьшей цене давало наибольший аромат.

Консервативная женщина, которая боялась любых перемен. Что-то однажды выбрав, она и впредь придерживалась этого. И когда с возрастом у неё поредели волосы, она продолжала стричься по-старому. Между прядями светилась кожа головы, что лично мне всегда казалось неприятным. Нельзя выходить на люди в нижней юбке.

Когда она обнимала меня, она делала это неловко. Как будто прочитала об этом руководство в журнале и толком его не освоила.

Такая была у меня мать. И другой мне не надо.

38

А эта меня отталкивает. У неё вечно что-то не то с желудком, её постоянно рвёт. Очень неприятные шумы.

А мне приходится это выслушивать. Ведь я даже уши себе заткнуть не могу. Я ещё не владею своим телом с такой точностью.

Мне надо попытаться отвлечься.

Представлять себе другие звуки. Сделать фантазию сильнее, чем действительность.

Какие-то шумы.

Шум бритвенного помазка по коже.

Когда брился мой отец, ему нельзя было мешать. Он тогда сидел за кухонным столом перед маленьким ручным зеркалом и подправлял контуры своей бороды. Маленьким маль-

чиком я любил на это смотреть, потому что при попытках добиться безупречной формы он делал такие смешные гримасы. Я думал, он делает это ради моего удовольствия. Однажды я рассмеялся так громко, что он вздрогнули порезался бритвой. Он аккуратно отложил бритву на кухонное полотенце перед тем, как побить меня.

Шум шагов на деревянной лестнице.

Госпожа Бреннтивиснер, все соседи это знали, изменяла своему мужу. Он был агентом по сельскохозяйственным продуктам и часто был в разъездах. У неё не было определённого любовника, она спала, как перешёптывались у нас на школьном дворе, с кем попало. В старших классах были ученики, утверждавшие, что тоже «поимели» её, под этим «поимели» я себе тогда ещё не мог ничего представить. Однажды Удо Хергес, который после школы разносил заказы своего отца, организовал ключ от её дома, и мы, нарочно громко топая, поднимались по деревянным ступеням лестничной клетки, чтобы госпожа Бреннтивиснер подумала, что это муж вернулся преждевременно. Мы представляли себе, что какой-нибудь голый мужчина, почтальон, может быть, в панике выпрыгнет из окна. Но ничего такого не случилось. Может, дома вообще никого не было.

Вот её опять рвёт. Может, это как-то связано со мной?

Шумы.

Шум мела по классной доске.

Бойтлин всякий раз вздрагивал, когда...

Почему я так часто думаю о Бойтлине? Он не был важной фигурой в моей жизни. После окончания школы я видел его только раз. Он был замешан в раздаче каких-то дурацких листовок, и мне предстояло разузнать, один ли он действовал или имел сообщников. Разумеется, он действовал один. Он был человеком не того сорта, которые имеют друзей.

Очень слабый подбородок.

Как же я буду выглядеть, явившись на свет?

39

Маленькие дети, таково всегда было моё мнение, совсем не привлекательные существа. По природе отвратительные. Недоделанные лица, слюнявые и беззубые. Я никогда не мог понять, почему кто-то находит это очаровательным.

Их привлекательность я объясняю себе тем, что для слабых людей притягательна их беспомощность. Тот факт, что от них не исходит никакой угрозы. Домашний хомячок мог бы сослужить такую же службу.

Каким я буду младенцем – спокойным или неприятным? Крикливым или тихим? Что меньше всего бросается в глаза?

Уж они дадут мне подсказки для моего выхода. Мне надо будет лишь прислушиваться, когда они будут обо мне беседовать, по этому и ориентироваться. Не обязательно знать роль в деталях, когда можно положиться на суфлёра.

Я буду ребёнком раннего развития, такого впечатления

мне, пожалуй, не избежать. Заслугу в этом они припишут себе. «Он пошёл в меня», будут они говорить. Склонность переоценивать себя – одно из человеческих свойств, на которые всегда можно рассчитывать.

Но мне уже заранее противна та интимность, которую придётся допускать. Тот факт, что чужие люди будут иметь доступ к моему телу. То, что я буду в их распоряжении. Судя по тому, что мне всё ещё приходится бороться за контроль над моими конечностями, я не смогу воспротивиться этому. И даже если бы я смог: это бы меня выдало. Каждый ребёнок – пленник.

Но уж как-нибудь выдержу.

Я радуюсь лишь предвкушению дыхания. Странно, как мало ощущений я могу вспомнить, которые с этим связаны. Эти ощущения, пожалуй, казались мне слишком естественными.

Судя по тому, что нам рассказывали в школе, в настоящий момент я всё ещё использую жабры. Как рыба. И питаюсь через пуповину, которая растёт у меня из живота. Будет ли больно, когда её перережут?

Не имеет смысла расписывать вещи, которые всё равно выпадут иначе, когда наступят. Такими размышления только ослабляешь себя.

В конце первого допроса я часто говорил своему визави: «При нашем следующем разговоре я буду применять другие методы. Вам следует подумать, какие это могут быть мето-

ды».

После этого можно было наблюдать, как это начинает в них работать. Очень действенно.

Мне надо чем-то занимать мою голову.

40

Мои собаки.

Первая была дворняжка и не имела даже клички. Она пробыла у меня слишком недолго для этого. Или то был он. Даже этого я не успел установить.

Конни Вильмов рассказал в школе, что их сучка оценилась, и его отец утопит всех щенят. Он пригласил нас при этом присутствовать. Нечасто так случалось, чтобы он мог произвести впечатление на соучеников, и он воспользовался моментом. Каждый из нас должен был принести с собой камень, так он сказал. Это была входная плата.

Мы все были на месте пунктуально. Конни держал мешок из-под муки раскрытым, а мы по очереди бросили туда наши камни. Будто отдавали на кассе ярмарочной будки наши грошики. «Чтобы они быстрее утонули, – сказал господин Вильмов. – Животных нельзя напрасно мучить».

Он был добродушный человек. Столяр.

Его сучка, совсем не красивое животное, лежала на боку, демонстрируя нам свои набухшие сосцы. Я прегда предпочитал кобелей. Когда господин Вильмов одного за другим

брал щенков за загривок и бросал их в мешок, она лизала ему руку. Доверяла ему.

Мешок был уже завязан, когда я обнаружил, что одного щенка проглядели. Самый маленький из помёта заполз под задние лапы своей матери, и никто его не заметил. Кроме меня. Я взял его так, как это делал господин Вильмов. «Вы этого забыли», – сказал я.

Ему, наверно, было неохота опять развязывать мешок. «Можешь взять его себе, – сказал он. – Дарю его тебе».

Утопление щенков оказалось не таким зрелищным, как мы это себе представляли. Господин Вильмов бросил мешок с моста – и он утонул. И это было всё.

По пути домой я рисовал себе все фокусы, которым обучу мою собаку. Подавать поноску. Служить. Замирать.

Мой отец пошёл со щенком в сад, взял его за задние лапы и дважды ударил его головой о стену.

То была моя первая собака.

Когда просто, без груза бросаешь мёртвое животное в реку, оно не тонет. Течением его уносит, но если оно застревает у какого-то препятствия, то кажется, что оно шевелится, как будто ещё живое.

Моя мать сказала: «Ничего, так лучше». Я тогда не понял, что она имела в виду.

Я и сейчас этого не понимаю.

Все другие потом были овчарки. Кобели. Они трудно поддаются дрессировке, а для меня в этом и было всё дело. Животное, которое повинуетя и без воспитания, скучно. Как если бы человек во всём признавался сам, когда его ещё даже не взяли в разработку.

Первую собаку мне разрешил отец, когда мне удалось закончить пятый класс лучшим учеником. Это было его условие, и я его выполнил.

Хассо.

Когда они засунули меня в униформу, мне пришлось его отдать. Не знаю, что с ним стало потом.

К следующей собаке я пришёл совсем случайно. В лазарете. Принц. Не я давал ему кличку. Он, как и я, был на войне, служил собакой-санитаром. Я уже не мог формировать его под себя – таким, как мне бы хотелось, и мне пришлось использовать те команды, на которые он был уже натаскан. Он подчинялся, но у меня никогда не было чувства, что он действительно принадлежит мне. Он слушался бы и любого другого.

Всегда лучше, когда натаскиваешь их сам.

Вотана я потом выбрал сам. Его предки все были с родословной, но его выбраковали, потому что левое ухо не отвечало породе и клонилось вперёд. Как раз это мне в нём и

наверное. Он не был совершенным, и это подходило к моей отсутствующей кисти. Ему я ещё позволял спать рядом с моей кроватью. Я тогда не понимал, что уступчивость – всегда ошибка. Егерь пристрелил его, когда Вотан погнался за косулей.

Егерь был прав.

Потом: Мефисто. Идиотская кличка, но шерсть у него была чёрная, гораздо темнее, чем у остальных щенков из его помёта. Сам не знаю, почему я его выбрал. Вообще-то мне больше нравятся коричневые овчарки.

Мефисто не делал чести своей кличке. Он был слишком ласков для своей породы. Если его долго не почёсывали, он начинал скулить как малое дитя. Я не скорбел, когда он заболел и с ним пришлось покончить.

И, наконец, Ремус. Моя лучшая собака. Я подключил его к раб-те, и он был полезнее, чем иной сотрудник. Потому что нёс свою службу по-деловому. Ни сострадания, ни ненависти. Хватал, когда ему приказывали, и снова отпускал по команде. Хороший характер.

Собаки дороже людей.

Перед тем, как стать Андерсеном, я пристрелил Ремуса. Это был мой долг перед ним.

Насколько я могу судить, у будущих моих родителей собаки нет. Придётся это изменить.

Первая маленькая победа. Я начал дрессировать женщину. Паритует она уже очень хорошо.

Я заметил, что ей неприятно, когда я её пинаю. Однажды она даже определённо сказала это.

Она говорила тогда с мужем? И если с ним, то: он ей муж? Это он несёт солидарную ответственность за мой новый организм?

По порядку.

С тех пор, как я знаю, что она не любит мои пинки, я пинаю её так сильно, насколько мне позволяют мои слабенькие мускулы. На это моего контроля хватает. Однажды я услышал, как она вскрикнула от моего пинка. Это было утешительно.

Самому себе я при этом не мог навредить. Преимущество эластичной камеры.

Я также не думаю, что своими пинками могу нанести ей какой-то урон. Уж природа позаботилась о достаточно сильном резервуаре.

Матка. Слово двойного значения. Рождающая мать.

Я пинаю всегда в тот момент, когда она хочет отдохнуть. С тех пор, как я понял, что это за волны, которые я ощущаю на своей коже, я могу определить такие моменты. Когда кажется, что корабль пришвартовался в безветренной бухте, это

она спит.

Но нельзя давать ей покоя. Я этого не допущу. Опыт показывает, что арестованные менее строптивы, если не давать им спать. Это научный факт. Я бужу женщину так часто, что она уже ни о чём больше не мечтает, только о покое. И от моей воли зависит, когда она его получит.

В полном покое я лежу – парю? плаваю? – лишь тогда, когда она ставит музыку. И тотчас начинаю пинаться, когда она её выключает. Уже через несколько дней – если это действительно были дни, но мне так казалось – она, по-моему, уловила эту взаимосвязь. Человек ведь тоже ничто иное, как эти собаки, которые начинают выделять слюну на звук колокольчика.

Я ничему не разучился.

Между тем это уже работает. Когда я хочу слушать музыку, мне достаточно пнуть её.

Я люблю музыку.

Судя по всему граммофоны сильно преобразились с моих времён. Для смены пластинки уже не требуется такого большого перерыва. Всю Героическую симфонию Бетховена номер три я смог прослушать целиком, не прерываясь.

Ми-бемоль мажор. Моя любимая тональность. «Благородно и пылко» – так называл её старый Рёшляйн.

Как правило, она выбирает музыку, которая мне нравится. Только один раз опять были эти совершенно другие тона, эти ритмические детонации, которые ощущаешь всем телом.

Вот это я не люблю. После нескольких сильных пинков она тут же её выключила. Повторную попытку она уже не делает. Люди легко обучаемы, если однажды нашёл их слабое место.

Теперь я хочу научить её по команде ставить совершенно определённые пластинки.

43

Я бы посмеялся, но мой организм ещё не настроен на это. У меня от этого начинается икота и никак не хочет прекращаться. Судя по всему, нерождённые не ориентированы на развлечения и забавы. Могут только скривить в гримасу свои недоделанные личики. Видимо, природа исходит из того, что в этой стадии им ещё не над чем смеяться.

У меня есть повод порадоваться. Приятно сознавать, что я, несмотря на мои ограниченные физические возможности, всё ещё могу добиться того, что задумал. В конечном счёте побеждает более решительная воля.

А она и впрямь гордится своим послушанием! Не замечает, что такт для её танцев задаю я. Она даже хвастается тем, что она делает. Собака, которая убеждена, что это она учит своего хозяина забрасывать палку.

Я только что подслушал её разговор с подружкой. Она хвасталась, как успешно она может успокаивать меня музыкой. Она – меня!

Она правда так считает. Арно – кажется, так зовут мужчину – дескать, не может поверить, сказала она, но она-то сама твёрдо убеждена, что дитя в материнской утробе всё слышит.

Неприятно, эта икота.

Она убеждена, что уже очень хорошо меня знает. Даже считает, что может в точности описать мой характер. «Он очень чуткий ребёнок, – говорит она. – Мать чувствует такие вещи».

Ну что ж, пожалуй, я и впрямь чуткий.

Это и в самом деле забавно – слушать её.

От некоторых вещей мне придётся её отучить. Когда она говорит обо мне, она называет меня «гномик». Мне это не нравится. Ещё пока не знаю, как из неё это выбить, но уж найдётся какой-нибудь способ.

Способ я находил всегда.

Гномик, сказала она однажды, ужасно гордясь таким познанием, гномик даже различает разные виды звуков. Можно это почувствовать. Например, музыку, от которой Арно в таком восторге, гномик вообще не любит. Да и сама она находит её слишком агрессивной.

«Агрессивная» – точное слово. Приятно осознавать, что этим ритмическим шумом меня грузит мужчина. Это ему придётся отвечать за это.

И приятно осознавать, что хотя бы один из двоих обладает каким-то вкусом. Мне было бы неприятно родиться в семье полных невежд. Ведь придётся – хотя бы первые годы –

проводить вместе немереное время.

44

Её опять рвёт. Это нормально?

Противно слушать это изнутри.

Снаружи эти звуки мне хорошо знакомы. Если в человека вливать воду через воронку, пока не раздуется его живот, то после его рвёт очень похоже. Метод незатратный, но и не очень эффективный. Мы экспериментировали с ним, но потом отказались от его дальнейшего применения.

Это всегда было моим принципом – минимальными затратами достигать наибольшего действия. В этом я брал пример с японцев. Они – народ старой культуры, и у них никто не пишет перегруженные картины маслом. Флакончик туши и кисточка – вот всё, что им требуется. Всё избыточное опускается. Ведь мы живём уже не средневековье.

Её рвёт безостановочно. В промежутках между судорогами она хватается ртом воздух и стонет. Это звучит как примитивное пение.

Я пинаю её, чтобы она заглушила свои назойливые звуки музыкой, но она не реагирует на пинки. Кажется, у неё серьёзные проблемы.

Не начать ли мне уже беспокоиться? Если ей плохо, я ведь тоже нахожусь под угрозой.

Я ненавижу эту зависимость.

Я чувствую, как она всё больше впадает в панику. Её волнение захлёстывает меня, как первые волны наводнения. Я не могу от них оградиться.

Нет, не наводнение. Огонь, который распространяется. Мы – два дома, пристроенные друг к другу.

Встроенные один в другой.

Она боится. Я бы кричал, призывая на помощь, если бы тут был ещё кто-то. Но здесь никого нет.

А ведь кто-то должен о ней позаботиться.

В том числе и ради меня.

Следующий приступ. Ей совсем нехорошо.

Рвота прекратилась, но это не принесло мне облегчения. Наоборот. Я потерял связь с женщиной. Как будто кто-то перерезал телефонные провода. И на другом конце провода теперь никого нет.

Внезапная мысль: а может, дело совсем не в ней? Дело во мне?

45

Они меня обнаружили и решили убрать меня из обращения?

Мне становится худо.

Я чувствую себя оторгнутым. Вытесненным.

Грудная клетка будто перетянута ремнём.

Не то чтобы это было больно. Пока нет.

Чувство дурноты.

Я не дышу, я уже примирился с тем, что я не дышу, но всё равно у меня такое чувство, будто я задыхаюсь.

Мне требуется помощь.

При малейшем шевелении мне становится хуже.

Человека можно связать так, что при каждом движении он сам перекрывает себе дыхание. Им приходится лежать совершенно неподвижно, это им даже говорят, тогда с ними ничего не случится.

Но никто не может не шевелиться.

Тяжесть становится всё сильнее.

Должно быть, они меня обнаружили. Поступил сигнал, загорелся свет, загудела сирена, поднялась тревога, которая сказала им: «Тут один знает то, что ему не положено знать». Они прочитали мои мысли, не знаю уж, каким образом, они решили устранить поломку, ликвидировать бракованный продукт из обращения. Не допустить меня до появления на свет.

Так вот каково это ощущение, когда тебя стирают?

Я перестану существовать.

Женщина будет плакать. Будет корить себя. Винить в выкидыше.

Ну, хоть что-то. Я не буду полностью забыт.

Я никогда не был пугливым человеком, даже в трудных ситуациях всегда сохраняя ясность ума. Но теперь моя голова больше не функционирует. Мне хочется отбиваться руками

и ногами, избавиться от этого чувства удушья, но я не могу шевельнуться. Больше не могу.

Это конец?

46

Какие-то звуковые сигналы, писк.

Голоса, которых я не понимаю. Они звучат глухо.

Снова писк сигналов. С постоянным периодом.

Нет, не с постоянным. Писк замедляется.

Замедляется.

Я не умер. Я спал. Если то был сон, а не обморок.

Всё ещё присутствует это паническое чувство. Горький привкус во рту. Я не могу его выплюнуть. Я отравился её страхом.

Я слышу, как она хнычет. Голос тоньше, чем я привык у неё слышать. Этот тон мне знаком. Так люди звучат, когда они сдались.

Она что-то говорит, но я не могу понять. Как будто мой слух стал слабее.

Весь мой организм стал слабее.

Я боюсь снова заснуть. Не знаю, будут ли у меня силы очнуться ещё раз.

Надо быть начеку.

Бодрствовать.

Я должен.

Мне снился сон, который я не могу вспомнить. Угрожающий сон. Из этого сна меня вытащил писк. Каждый его звук – болезненный укол.

Но я ему благодарен за это. Из этой череды писков я могу связать себе верёвку. Верёвочную лестницу. Бежать отсюда.

Я так устал.

Взволнованные голоса. Они говорят наперебой. Я не могу различить слова.

Мужской голос. Арно. Он кричит так громко, что его я понимаю. «Сделайте же что-нибудь!» – кричит он.

Другие голоса успокаивающие. По их тону становится ясно, где мы, должно быть, находимся: в больнице.

Значит, слабость всё-таки не моя собственная. Женщина тоже в этом виновата.

Она не имеет права заболеть. Она отвечает за меня.

47

Страх.

Когда я в последний раз был в больнице, другие боялись меня. Тогда я всё держал под контролем. Самостоятельно принял решение всё-таки ампутировать левую кисть, сам нашёл врача и назначил время. Всем участникам дал ясно понять, что с ними будет, если они когда-нибудь об этом проговорятся. То было неприятное вмешательство, но я был господином ситуации.

Страх означает: не иметь контроля.

Если женщина умрёт – а если я правильно толкую всеобщую тревогу, эта возможность не исключена, – если она не выздоровеет, я издохну вместе с ней. Без скорлупы яйцо не сохраняет свежесть.

Я могу только ждать. Ждать и надеяться.

На что?

Найдут ли они на сей раз мои воспоминания? Я не хочу ещё раз садиться на карусель.

А если садиться, то не со всем этим балластом.

Женщина, кажется, в беспомощности. Они беседуют о ней, не выходя из комнаты. Мужчина и седовласый голос. Врач, как я понимаю.

«У нас две возможности, – говорит она. – Обе не радуют. Мы можем продолжать надеяться и ждать, что состояние пациентки стабилизируется...»

«Пожалуйста, – говорит он. – Пожалуйста, пожалуйста». Непонятно, с кем он говорит: с ней или с Богом.

«... или, – говорил седовласый голос, – мы можем прибегнуть к очень сильной химической дубине. Применить средство, которое всегда оказывает желаемое действие».

«Пожалуйста», – опять умоляет он.

«Правда...»

Что «правда»?

«Эта терапия опасна для плода. Вы должны быть готовы к тому, что ваша жена потеряет ребёнка».

«Мы не женаты», – говорит он.

Зачем он это говорит?

«Вы должны принять решение», – говорит она.

Он молчит.

При этом решение совершенно ясно. Ждать. Разумеется, ждать.

«Делайте то, что вы считаете правильным, – говорит он. – Пожалуйста».

48

И он вышел. Плача. Взрослый мужчина.

Какое-то время был слышен только этот писк, значения которого я не знаю. Тем не менее, у меня было чувство, что женщина, которой принадлежит седовласый голос, была ещё здесь.

Я представил себе её облик. Возможно, на самом деле она выглядит совсем иначе, но представление помогает мне разместить её в моей голове. Строгое лицо. Очки. Волосы собраны в узел. Профессионально грамотна, но без личной заинтересованности в своих пациентах. Видит в них лишь задачи, которые должна решить.

Я – лишь один элемент в расчёте. Возможно, не самый важный.

Такая докторша, какой я её представляю, быстро принимает свои решения. Я тоже всегда так делал. Иногда чело-

веку неприятен правильный ответ, но долгие терзания и сомнения не меняют дела. Например, вот есть группа людей, связанных между собой и взаимно приятных друг другу, но одним из них надо пожертвовать самым болезненным образом. На глазах остальных, чтобы заставить их говорить. Вопрос только, кого выбрать для этой цели. Наибольшего воздействия достигнешь, если выберешь самого симпатичного. Даже если тебе самому по чувству хотелось бы этого избежать.

Кто несёт ответственность, не может поддаваться воздействию эмоции.

Будь я этой докторшей, мне бы не пришлось долго раздумывать. Ребёнка через пару месяцев можно будет заменить другим.

Но речь идёт не о каком-нибудь ребёнке вообще. Речь идёт обо мне.

Кажется, в помещении есть кто-то ещё. Пожалуй, её подчинённый. Седовласый голос что-то произносит, и это слово звучит как команда. Незнакомое слово. Название медикамента? «Пятьдесят миллиграммов», – добавляет она.

Какое лекарство она выбрала?

Они что-то делают с женщиной. Вводят ей укол, как я думаю. Поскольку её хныканье прекратилось, она, наверное, без сознания.

Я жду действия укола.

«Вы должны быть готовы к тому, что ваша жена потеряет

ребёнка».

Время удлиняется и замедляется.

Ещё медленнее.

Я тону в озере. Вода чёрная.

Чёрная и тёплая.

Чёрная.

49

Это то же самое тело или уже снова следующее?

То же самое. Я жив.

Всё ещё, а не снова.

Я так устал.

Писк прекратился. Я исхожу из того, что это хороший знак.

Я спал и спал, но всё ещё измотан. Как будто всё это время – а сколько времени прошло? – вынужден был плыть против течения. Поднимался в гору из последних сил. Но теперь я на берегу, на вершине, или где там ещё. Добрался.

Это удалось и женщине. Кажется, мы всё ещё в больнице, но за неё уже никто не тревожится. Это заметно по вопросам, которые ей кто-то задаёт – должно быть, медсестра, как я думаю. Повседневные пустые фразы, к которым прибегают, когда не надо обсуждать ничего действительно важного.

«Как вы чувствуете себя сегодня? Лучше? Не хотите ли чего-нибудь?»

Она отвечает, но очень слабым голосом. Кошка, забравшаяся на верхушку дерева и ещё не смеющая громко мяукать, хотя её уже давно сняли.

Позднее добавляется седовласый голос. Докторша. «Ещё два-три дня я хотела бы вас постеречь», – говорит она.

Странно, как слова могут менять оттенок в зависимости от того, в какой связи их применяют. «Постеречь».

«Но потом мы отпустим вас на волю».

«Отпустим». Тоже такое слово.

«Самое меньшее две недели никаких физических усилий, – говорит седовласый голос. – Как можно больше лежите и дайте себя побаловать».

«Вы спасли мне жизнь», – говорит женщина.

Должно быть, медицина сильно продвинулась вперёд с того времени, как я стал Андерсеном.

Докторша хочет уйти, но у женщины есть ещё один вопрос. «А гномик?»

Не надо бы ей меня так называть.

«Всё в порядке, – говорит седовласая. – Он чувствует себя превосходно».

Ну уж это неправда. Я слаб как совсем старый старичок. А как говорят про возраст, когда ещё даже не родился?

Я не хочу думать «мы». Есть я и есть она. Нет никакого «мы».

Мужчина пришёл навестить её. Мне придётся внести некоторые поправки в его образ. Я представлял его себе неотёсанным. Приблизительно таким, как Андерсен. Не слишком интеллигентным, но для практических дел вполне пригодным. Тип не из чувствительных. Но теперь он совсем размяк. Стал даже немного плаксивым.

Я слышу его отчётливо, хотя он говорит не громко. Должно быть, он находится где-то совсем близко от меня. В картине, которую я себе представляю, он сидит у больничной кровати, положив голову на её живот. Использует меня в качестве подушки.

Я исхожу из того, что женщина лежит. Я не знаю этого в точности, но это логичное допущение. Чтобы быть уверенным, мне надо научиться различать направления в пространстве. А я всё ещё не умею. Горизонтально или вертикально – для меня это всё едино.

Начало разговора было неинтересным. Всё то, что обычно говорят, придя навестить больного.

Но потом... Интересная новая информация.

Они не женаты.

Они пара, но не супружеская. Кажется, они не находят в этом ничего удивительного.

Он просил её руки. Принёс кольцо и хотел надеть ей на палец. Может, он и не сидел на стуле у кровати, а стоял на

коленях. Это было вполне представимо, если судить по торжественности в его голосе. «Давай как можно скорее назначим свадьбу», – сказал он.

А она сказала: «Нет». Сказала не драматически, а так, как будто речь шла о приглашении к столу, а у неё как раз не было аппетита. Когда-нибудь она выйдет за него, так она сказала, но сейчас не время для этого.

Он пытался её переубедить. После того ужаса, который он пережил, он не хочет больше ждать, так он сказал. Голос у него дрожал.

Она осталась при своём и тогда, когда он попытался увлечь её перспективой большого празднества, которое собрался устроить. «Без живота я смогу получить от этого куда больше удовольствия», – таков был её ответ.

Он всё ещё уговаривал её, но моё знание людей подсказывало мне, что она не изменит своего мнения.

Я буду незаконнорождённым ребёнком.

Ну-ну.

51

В таких делах я не могу положиться на свой опыт. Нестёртой части моего воспоминания самое малое шестьдесят лет.

Шесть десятилетий. За это время мир изменился в тысяче пунктов. Шестьдесят лет – это уже почти разрыв между королём-Солнце Людовиком XIV и Французской революцией.

Не так много осталось в силе из того, что я воспринимал как само собой разумеющееся. Больше не получится играть по тем же правилам.

В обществе, куда меня вскоре родят, может быть, давно не бросается в глаза то, что так поражало меня. Жениться и выходить замуж вышло из моды, как кринолины и башмаки с длинными острыми носами. Стало реликтом из бабушкиных времён. Милый старый обычай, которому можешь следовать или не следовать, кому как нравится. Так или эдак – значения не имеет. Кто декорирует свою гостиную античной прялкой, не собирается на ней пряхсть.

Вполне могло так быть. Не только техника продвинулась вперёд, но и обычаи. Никто не может сказать наперёд, в какую сторону пойдут перемены. Зависит от многих случайностей.

Мой отец скорее вышел бы на улицу с голой задницей, чем с голым лицом. В его время борода и усы были признаками мужественности. Он ухаживал за волосяным покровом своего лица так, как будто его состояние контролировалось полицией. Повязки для усов и специальная помада. Худшее ругательство в мой адрес было у него «безусый щенок».

А тридцать лет спустя бородачи только выставляли себя на посмешище. Чтобы казаться геройским, приходилось быть гладко выбритым.

Всё меняется.

После моего рождения – к этому представлению я всё ещё

не привык – мне придётся вести себя как этнографу в неисследованном племени. Ничего не предполагать как данность и не делать скороспелых выводов. Не думать, что ты понимаешь язык, лишь на том основании, что он звучит как твой собственный. Одни и те же слова могут иметь разное значение.

Быть начеку. Сомневаться как раз при сходстве.

Мне придётся исследовать мир, который шестьдесят лет продолжал вращаться дальше, как Гулливер исследовал миры лилипутов и великанов. Единственное, что я могу решить сам, это хочу ли я быть Гулливером-великаном или Гулливером-гномом.

Гном. Я ненавижу это слово.

Я их отучу от него.

52

Сонливость охватывает меня всё ещё совершенно внезапно, без малейших предвестников. Вот я бодр – или думаю, что бодр, – а в следующее мгновение уже больше ничего не воспринимаю. Как будто во мне выключили тумблер. Организм просто отключается. Я не имею на это никакого влияния.

Когда я потом прихожу в себя, мне приходится в первый момент заново пробираться на ощупь в действительность. Определяться, где я и в каком положении. Логический рас-

судок уже примирился с моей ситуацией. А чувства ещё нет.

Я никогда не любил спать. В детстве, по рассказам матери, я убегал, когда приходило время ложиться спать. Или прятался. Сам я этого не помню, но могу понять.

Во сне человек беззащитен. В армии в казарме я всегда выбирал себе койку в верхнем ярусе. Нападающему пришлось бы сначала взбираться ко мне, и я бы успел проснуться.

Вообще: сон – потерянное время жизни. Разумеется, батареи нужно подзаряжать, запасы пополнять. Но я никогда не понимал, как эта необходимость может быть для кого-то желанной. В особенности, если не контролируешь момент времени.

Наверняка из-за этой слабости я уже пропустил много важной информации.

Тогда – мне надо привыкнуть, что это было «тогда», хотя мне-то кажется, что «вчера», – тогда я обходился минимумом сна. Был известен этим. Способность, которая очень пригодилась в моей работе. Кто может дольше обходиться без сна, тот и победил. В конечном счёте, в жизни всё – лишь вопрос доминирования.

Я был в состоянии начать допрос в три часа утра и, если надо, протянуть его до следующей ночи. Один вопрос за другим. Постоянное капанье. Когда у допрашиваемого слипаются глаза: бадью воды ему на голову. Если надо, то и более жёсткие меры.

Особенно эффективным оказывалось то, что я мог вести эти заседания без единого перерыва. Дядя Доктор организовал мне таблетки, медикамент, предназначенный для диабетчиков. Проглотишь таблетку – и целый день можешь не мочиться. И если Я не нуждаюсь в перерыве – это я им всегда по-деловому объяснял, и это сбивало их с толку больше всего, – то и допрашиваемый со своей стороны тоже может это выдержать. Легче всего выиграть, когда ты сам определяешь правила игры.

Есть только сильные и слабые.

53

Из-за этой тяжкой сонливости я ухватываю лишь обрывки того, что происходит вокруг меня. Как будто я сижу в кино, а кто-то порезал плёнку, а потом склеил обрезки как попало. Часто отсутствуют как раз самые интересные места.

Мы снова дома.

Мне надо привыкнуть к этому слову. Хотя это и не мой дом. Просто место, звуки которого мне знакомы.

Квартира. Не слишком большая. Уже дважды они говорили о том, что им понадобится больше места, «когда появится гном».

Они явно небогатые люди. Едят на кухне. Я слышу шум воды, текущей из крана, и звон посуды. Прислуги, кажется, никакой. По крайней мере, я ни разу не слышал голоса, ко-

торые могли бы принадлежать поварихе или домработнице.

Если я правильно толкую их разговоры, то посуду в большинстве случаев моет Арно. Она для этого ещё слишком слаба после больницы. Он уверяет, что ему это даже доставляет удовольствие. А что бы он ещё сказал?

Как зовут женщину, я до сих пор не знаю. Он называет её «сокровищем».

Поразительно часто – и этому я не нахожу объяснений – я слышу машинные шумы. На кухне, но и в ванной тоже. Ванну легко опознать. Это единственное помещение, дверь которого запирается. Я не люблю, когда она туда удаляется. Слишком часто мне потом приходится слышать шумы неприятных интимностей. Она проводит много времени за своими опорожнениями.

Иногда, и это я нахожу особенно неаппетитным, она говорит по телефону, сидя на унитазе. По крайней мере, я полагаю, что разговоры, в которых я не слышу голос партнёра, – телефонные. Хотя я ни разу не слышал, чтобы стрекотал диск набора номера. Не могу взять в толк, зачем кому-то понадобилось проводить телефонную линию в сортир. Иногда перед такими разговорами звучит короткая музыкальная пьеса. Всегда одна и та же. Если это замена треньканью звонка, то я считаю такой прогресс оправданным. Не так раздражает.

Также оба очень много слушают радио. Я пытался составить из новостных передач картину мировой политической

ситуации, но мне это не удалось. Мне не хватило информации. До сих пор я даже не мог с уверенностью выяснить, кто же выиграл войну. По тогдашней ситуации это не могли быть мы. А может, за это время давно случилась ещё одна война.

В комнате, где они слушают радио, стоит кресло, которое нуждается в ремонте. Всякий раз, когда в него кто-нибудь садится, скрипит одна пружина. Это просто неряшливость – не привести такую вещь в порядок.

Мне кажется, на основании одних только шумов я могу уже очень хорошо ориентироваться в квартире.

54

Теперь, когда угроза болезни осталась позади, растёт моё нетерпение наконец преодолеть это недостойное состояние. Я, чёрт возьми, довольно долго пробыл в заключении в этой чужой утробе. Естественно, в заключении время тянется всегда дольше, чем на самом деле, феномен, который мне не раз приходилось использовать. И всё равно у меня такое впечатление, что девять месяцев беременности должны бы уже давно миновать.

Может быть, я сам мог бы что-то сделать для ускорения процесса? Только чтоб не причинить вреда себе самому.

Но лучше не рисковать. Я слишком мало знаю о телесных взаимосвязях. Уж бесконечно долго это тоже не может длиться.

Обычно, по моим представлениям, у младенца в материнской утробе не бывает чувства времени. Иначе бы они не выдерживали этого – как и другие заключённые – и погибали бы от собственного нетерпения. Способность чувствовать продолжительность минуты или дня стирается, наверное, вместе с воспоминаниями. Как моя мать для повторного использования банок для консервирования тщательно их промывала. «Если останутся какие-то старые следы, – говорила она, – то содержимое испортится».

У меня это не только остатки. Я принесу с собой в мир больше опыта, чем эти люди, которые будут считаться моими родителями, могли собрать за всю свою жизнь. Впрочем, они прожили ещё только половину своей.

Мне недостаёт лишь части Андерсена. А хотелось бы знать, что с ним случилось.

Будет ли у меня возможность провести о нём розыски? Ведь оставил же я после себя какие-то следы и в качестве Андерсена. В органах регистрации или в других реестрах. Где-нибудь появилось известие о его смерти. А может, он – то есть я – был женат. Может, родил детей. Которые к этому времени уже сами должны были стать пожилыми людьми. А то и умерли.

Чтобы побороть скуку, я занимаюсь тем, что выдумываю себе биографию Андерсена. Как можно скорее я перееду в большой город – такя тогда запланировал себе. Нигде не скроешься так надёжно, как в большой толпе народа. Там

я со временем сниму с себя маску крестьянина. Использую свой опыт, чтобы выстроить что-то новое. Я знаю, как контролировать других. Это способность, которая всегда найдёт себе применение.

Андерсен как бизнесмен? Андерсен как журналист? Андерсен как политик?

Чем бы я ни занимался, я должен был в этом преуспеть. Или это был бы не я.

55

Её зовут Хелене. Сегодня я это узнал. Пришла в гости её подруга, болтливая женщина с привычкой то и дело называть своего визави по имени. «Хелене то, Хелене это, Хелене, послушай-ка» и «Хелене, а знаешь».

Хелене.

При этом имени я представляю себе бледное лицо. Елену я рисовал бы сильными красками, а вот Хелене – нет. Светлые волосы. Близорукая, не знаю, почему я так решил. Но слишком тщеславна, чтобы носить очки. Поэтому глаза всегда прищурены. Я так и вижу себе церковную прихожанку, хотя до сих пор не заметил за этой женщиной набожных склонностей.

«Благочестивая Хелене», конечно же. Вот откуда ассоциация.

Разумеется, это глупость – пытаться вообразить внеш-

ность человека по его имени. Имя определяют задолго то того, как лицо получит возможность развиваться в нечто своё. В большинстве случаев родители определяются с именем ещё до того, как увидят своё дитя.

Хелене.

Странно, с какой серьёзностью люди относятся к этим обозначениям. Если кто-то хочет стать деятелем искусства, артистом там или чем-то в этом роде, он первым делом берёт себе новое имя. Я знавал людей, которые бегали по инстанциям только из-за того, что не хотели больше называться так, как назывались. Как будто этикетка, наклеенная на предмет, может изменить его содержание.

Всё пустые слова.

Однажды эти двое обсуждали, как меня назвать. Не знаю, пришли ли они к какому-то решению, потому что я опять заснул посреди их разговора.

Мне всё равно, какое имя они мне дадут, раз уж оно не моё собственное.

Андерсена я назвал Дамианом. Дамиан Андерсен. Это имя написано теперь, наверно, на его – на моём – надгробном камне. Если ту могилу давно не вырыли, а на камне не высекли имя другого покойника.

Людей, которых к нам доставляли, мы никогда не звали по имени и фамилии. Всегда только по номеру. Приучили их откликаться на номера. Хорошее средство дрессировки людей.

Хелене.

Странно: с тех пор, как я знаю её имя, я чувствую себя к ней ближе.

Когда я потом смогу говорить – когда я признаюсь, что могу говорить, – я буду, наверное, называть её мама.

Мама. В сущности идиотское слово.

56

Наконец-то я проснулся в нужный момент. Я услышал интересный разговор.

В гостях у Хелене была её болтливая подруга. Её зовут Макс. Вернее, это её прозвище. Наверное, какое-то озорство из детства. Настоящее её имя – какая-нибудь Мари. Или Маргарете. Она студентка, если я понял правильно.

Арно при этом не было. Ему понадобилось заехать на работу, так он сказал. Я мог бы поклясться, что это была отговорка. Он не любит Макс. Однажды он сказал Хелене, что её подруга – глупышка, не знающая других тем для разговора, кроме каких-нибудь психологических теорий.

В этом пункте он сильно заблуждается. Макс очень даже знает и другую тему. О которой она, правда, не говорит в его присутствии.

Обе подруги разговаривали о мужчинах. Не так, какя это представлял себе в беседах женщин, а значительно грубее. Мы даже в офицерском клубе с такой откровенностью не го-

ворили о своём опыте с противоположным полом.

Макс, судя по всему, регулярно меняет своих любовников и рассказывает об этом с непринуждённостью. Если бы речь шла о паре обуви, которую она примеряла то в одной, то в другой лавке, не находя себе подходящей, она говорила бы в таком же тоне. Насколько я мог понять из их разговора, она, несмотря на постоянно меняющиеся любовные связи, не слыла распутной и не находила в своём образе жизни ничего предосудительного. Напротив, она пребывала в поиске большой любви. Именно в этом она и терпела разочарования. Она страдала от жалости к себе. Что не мешало ей описывать мужчин, с которыми она имела дело, крайне деловито, сравнивая их во всех деталях. В том числе и с анатомической точки зрения. Как будто речь шла о скаковых лошадях.

Хелене, судя по всему, не находила в таких приземлённых изображениях ничего необычного и сама с такой же безоглядностью говорила о своём опыте с Арно. Я знало его предпочтительных позах в сексе больше, чем бы ему понравилось. Обе говорили об интимнейших вещах так предметно, как будто обменивались кухонными рецептами.

Я счёл бы такие дискуссии между двумя женщинами невозможными. В этом отношении общественные правила, судя по всему, сильно изменились по сравнению с моим временем.

Мне надо перестать думать о прошлом как о «моём времени». Моё время теперь – здешнее.

Рождённый в девятнадцатом веке, я теперь дитя двадцать первого.

57

Ещё один кусочек мозаики. Ссора между Хелене и Арно. Речь идёт о деньгах. Разборки, как всегда, крутятся вокруг собственности. Как между людьми, так и между народами. Слова для этого находят другие, причины, звучащие благороднее, но в конечном счёте речь всегда идёт лишь об одном: хотят иметь больше, чем сосед. Называют это патриотизмом.

Я в этом отношении никогда не обманывался. Я не патриот. Делал бы свою работу и для стороны противника, если бы пришлось. Я и там был бы лучшим в своём деле. Но – по случайности или по приговору судьбы – ты с самого рождения определён в одну команду, и тут имеет смысл прилагать усилия лишь к тому, чтобы твоя команда выиграла.

Мы, пожалуй, проиграли. М-да. Но к настоящему времени и это – событие лишь для книг по истории.

В разборках между Хелене и Арно речь шла о сумме, которую они отложили для общих трат, а он потом, её не спросив, купил что-то для одного себя. Толком я не понял, о чём шла речь. Она обозначила это как игрушку, но это же не имеет смысла.

Кажется, речь шла о техническом приборе. Название мне ни о чём не говорило. Мне вообще придётся привыкать к

новому вокабуляру. Особенно Арно употребляет множество таких выражений, которые я не знаю.

Придётся всё это учить.

Как специалист по ведению разговоров, я должен сказать: Арно вёл себя в этой дискуссии крайне неуклюже. К себе в подразделение я бы такого человека не взял. Вообще никакого чутья к тому что, собственно, важно для неё. А ситуация при этом совершенно очевидная. Она его упрекала, что для таких приобретений сейчас не время, именно сейчас, когда они ждут ребёнка, есть много других важных вещей, на которые можно было потратить сбережения. И так далее. Она повторяла одни и те же аргументы, а это всегда знак слабой позиции. Ему следовало бы просто признать её правоту, разыграть сокрущённость, и у неё бы сразу отлегло. Раскавание в большинстве случаев хороший аргумент. Совсем не обязательно, чтобы оно было искренним.

Но он применил совершенно неправильную тактику. Совсем не вникал в её упрёки. Дескать, он понимает, почему она так волнуется, на такой стадии беременности, сказал он, это совершенно естественно, перед самыми родами. Но она, дескать, должна подумать, не связано ли её раздражение не столько с делом, сколько с её гормонами.

После чего, разумеется, она просто взорвалась.

Никуда не годный спорщик. Я бы сделал это лучше.

«Перед самыми родами».

Эти слова не дают мне покоя.

Перед самыми родами, это может означать всё что угодно.

Что именно он имел в виду? Дни? Недели?

Или это уже часы?

Ему следовало бы выражаться поточнее. Я никогда не любил эту расплывчатость.

Когда я был ребёнком, когда я в последний раз был ребёнком, я был так зачарован календарём, как другие игрушечными машинками или индейцами. Меня восхищал порядок, который в них выражался, тот факт, что все важные события в жизни были наперёд запланированы. Сколько дней ещё осталось до моего дня рождения, до Рождества, до начала больших каникул? Я уже тогда искал опоры в прочных структурах. Мне рассказывали, что однажды я со слезами протестовал, что не все месяцы одинаковой продолжительности. Я-то думал, время распределено равномерно. Мне и сегодня эта неравномерность кажется неоправданно хаотичной.

У нас на кухне у двери висел отрывной календарь, на котором под каждой датой было помечено историческое событие и соответствующие святые. 26 сентября: Косма и Дамиан. Это было моё ревностно охраняемое право – каждый день отрывать старый лист календаря. Я ещё хорошо помню,

что по воскресеньям, когда числа были красными, я делал это с детской торжественностью. Однажды – должно быть, на Рождество – было подряд три красных числа, что показалось мне прямо-таки магическим. Я ещё долго хранил эти три листка.

На обороте листков были напечатаны благочестивые поучения и так называемые мудрые высказывания. Они меня никогда не интересовали.

И позднее, уже взрослым, я особенно ценил пунктуальность и надёжность. Я догадываюсь, что мои сотрудники считали меня излишне упёртым – из-за того, что я настаивал на точных рабочих планах. Но как раз в нашем ремесле, когда в любой момент надо рассчитывать на неожиданность, мне казалось важным, хотя бы там, где это было возможно, исключить все ненужные случайности.

Я из тех, кто любит всё продумывать и планировать наперёд. Так, как я это делал, когда готовился стать Андерсеном. С этим принципом я всегда хорошо управлялся. И вот как раз при важнейшем событии, которое меня ожидает, я не имею ни малейшего понятия, когда оно произойдёт.

И как оно будет ощущаться.

Не то чтобы я его боялся. Но это неприятное чувство – совсем не знать, что тебе предстоит.

Сегодня я мог бы получить ответ на это. Но проклятая сонливость снова сыграла со мной злую шутку.

Хелене была у своей докторши. Я, пожалуй, не ошибаюсь, относя седовласый голос к этой профессии. Речь шла определённо о беременности, и они, должно быть, обсуждали срок родов. Это по логике. Но как раз эту часть их разговора, ту часть, которая интересовала меня больше всего, я проспал. Проснулся, когда Хелене уже прощалась.

Потом она ехала на трамвае. Это не могло быть ничем иным, хотя звуки были совсем другие, чем остались в моих воспоминаниях. Дома – боже мой, да, на какое-то время это будет мой дом – она жаловалась Арно, что ей никто не уступил место. При том, что состояние её было очевидно. Я не люблю такие жалобы. Вместо того, чтобы полагаться на вежливость других, ей следовало бы самой постоять за себя. Дура-корова.

Кое-что меня поразило, потому что не казалось мне возможным: у докторши меня сфотографировали. Прямо в утробе. Понятия не имею, что это за техника. Что-то вроде рентгеновского снимка, я полагаю. Хелене показала картинку Арно и обиделась, что он реагировал сдержаннее, чем она от него ожидала. Она-то находила меня на этом снимке чудесным.

Казалось бы, мне должно быть безразлично, но мне неприятно, что другие могут так запросто разглядывать моё тело.

Моё тело? Я всё ещё чувствую его принадлежащим кому-то другому. Прежнее было мне милее, хотя после всех проблем с моей кистью оно уже не было в таком уж хорошем состоянии. Но оно подходило мне с такой же естественностью, как старый пуловер.

К новому мне ещё надо привыкать. Пока что я с ним плохо управляюсь. Оно пока не выполняет то, чего я от него хочу. Как будто я управляю новенькой машиной, только что с завода, а никто не показал мне назначения её кнопок и рычагов. Вероятно, новым телом надо управлять так же осторожно, как новым автомобилем.

Я надеюсь, случай предоставил мне не слишком дешёвую модель. Со слабым мотором гонку не выиграть. Я не такой человек, чтобы удовольствоваться вторыми рангами. Никаких почётных мест в гонках не существует. Есть только победитель и проигравшие.

Вот и опять я устал. Когда уже пройдёт эта перманентная сонливость? Такие продолжительные провалы внимания я не могу себе позволить в моём положении.

Я очнулся и слышу учащённое дыхание Хелене. Дыхание,

которое устанавливается, когда нужно претерпеть нестерпимую боль. Мне очень хорошо знакомы эти звуки.

Не следует ли из этого заключить, что у неё начались схватки? Что это уже роды?

Но разве я при этом не должен что-то чувствовать? Какое-то давление, боль, не знаю. Какую-то перемену?

Но нет ничего нового, всё та же ванна приятной температуры, в которой я плаваю. Отсутствие пространственной ориентации, к которому я уже привык. Да и в эмоциях Хелене, которые я научился считывать также точно, как свои собственные, не чувствуется никакого волнения, которое можно было бы ожидать в родовом зале. Она расслаблена. Если сказать ещё точнее – довольна.

Но она при этом учащённо дышит.

Быстрое дыхание со стоном слышно, кажется, со всех сторон. Как будто разносится эхо. Как будто целый строй женщин...

Этому я не нахожу объяснения.

Потом чей-то голос – женский – что-то говорит, и учащённое дыхание со всех сторон прекращается. Слышно, как люди переговариваются и смеются.

И опять женский голос. Громче, чем остальные. «А теперь, пожалуйста, расслабьтесь, – говорит она, – и дышите спокойно. Ровно через две минуты снова начнётся».

Что это здесь происходит?

Голос Хелен: «Спасибо, что ты пришёл со мной».

И Арно: «Всё это кажется мне немного смешным».

Хелене смеётся. Это ласковый смех. Мне чудится, что она при этом гладит его по волосам. «Другим точно так же», – говорит она.

Что именно?

Тут, без сомнения, много людей. Главным образом женщины, но и мужчины тоже. Они говорят наперебой, стоит неразборчивый гул голосов, как бывает перед началом собрания в зале.

«Ещё одна минута», – восклицает громкоголосая женщина с деланной весёлостью. Тонем медсестры.

«Сегодня я рад, что я мужчина», – говорит Арно.

Хелене смеётся. У неё хорошее настроение, я это могу чувствовать. «А я всегда рада, что ты мужчина», – говорит она воркующим голосом, совсем грудным. К счастью, они тут не одни. А то бы мне сейчас пришлось выслушивать неаппетитные звуки их нежностей.

Но где же это они?

«И – начали!» – командует голос медсестры.

Хелене снова начинает учащённо дышать.

61

Это был театр. Они играли роды, как дети играют в куклы. Не знаю, с какой целью это делалось. В моё время...

Мне надо отвыкать от такого образа мысли. «Тогда», – вот

как я должен думать. Или: «Семьдесят лет назад».

Тогда такие дурацкие идеи никому не приходили в голову. Возможно, всё это – новый обычай для пар, ожидающих ребёнка. Арно потом отпускал шутливые замечания. Она поначалу сердилась на это, но потом подстроилась под его смех. Теперь оба вошли в раж. Как будто устроили кому-то каверзу.

Стук приборов по посуде. Звон стаканов. Обрывки разговоров. Ресторан. Я уже наловчился составлять из звуков картинки.

Ресторан с небольшим оркестром. Звуки доносятся до меня издалека, и я рад этому. В них есть что-то неприятно чужеродное. Завывающая мелодия неопознаваемой тональности. Я не мог бы даже сказать, что это за инструмент играет. Звучит как скрипка с единственной расстроенной струной.

«Может быть, тебе не следовало бы заказывать такое острое, – говорит он. – В твоём-то положении».

Она хихикает. Тоненьким голоском. Она что, не замечает, что похожа на маленькую глупую девочку? «Сегодня мне ничто не кажется достаточно острым», – говорит она. Теперь и он тоже хихикает. Глупые люди.

Я никогда не понимал, почему для некоторых еда может быть так важна. Почему они способны говорить о ней часами. Организм требует топлива, разумеется. Но погружаться в размышления о выборе и способе приготовления – пустая трата времени. В конечном счёте всё уйдет в тот же унитаз.

Из профессионального интереса я однажды проверил на себе, сколько можно обходиться без пищи. Несколько дней – без особых проблем. Переносить жажду намного тяжелее. Если накормить человека селёдкой, а потом приковать к батарее центрального отопления, то долго не выдержит никто. Я всегда предпочитал методы, при которых надо просто подождать, когда подействует. Можно в это же самое время заниматься кем-то другим.

Музыка становится всё назойливее. Теперь она старается ещё и подпевать, а он находит это ужасно забавным. Может, они оба пьяны?

Нет. Если бы Хелене пила, я бы это почувствовал на себе.

Но Арно, кажется, уже не вполне трезв. Он провозглашает тост: «За гнома! Через две недели мы с тобой – мама и папа!»

62

Две недели. Это обозримый срок.

У меня какое-то безрассудное чувство, что мне надо собираться. Как будто для этого мне надо упаковать чемодан. Подготовить документы.

Тогда, когда было необходимо стать Андерсеном, я готовился к этому неделями. Всё, что мне могло потребоваться, лежало наготове. Теперь я могу только ждать.

Я никогда не был терпеливым человеком.

Не будет ли это очень больно?

«Схватки». Само слово звучит угрожающе.

Учишься-учишься – и всё равно знаешь всегда недостаточно. Я никогда не интересовался процессом родов. Хотя в остальном очень близко знакомился с анатомией человека. Чтобы знать, где с минимальными затратами причинить максимум боли.

Две недели.

По каким признакам определить, что уже началось?

Когда мой отец приходил в ярость, он покусывал кончики своих усов. И я уже знал: сейчас будет бить. На войне вначале шёл заградительный огонь, а через четверть часа начиналось наступление.

Всегда есть какое-то предвестие. Только надо его угадать. Некоторые животные предчувствуют землетрясение за несколько часов до его начала.

Мне незачем сходить с ума. На земле живут миллиарды людей, и каждый из них пережил своё рождение.

Но у других есть то преимущество, что они прошли через это неосознанно. И потом им не пришлось об этом ничего вспоминать. Постепенно до меня доходит, что в отсутствии памяти есть свои плюсы. И, значит, с их стороны это совсем не злой умысел, когда они стараются ликвидировать неисправности.

«Что там с нашим гномом, – слышу я слова Хелене. – Что-то он вдруг забеспокоился».

«Причина в том, что ты ела острое», – говорит Арно. Он

идиот.

«Тогда пойдём домой», – говорит она.

Жаль, что она не пила алкоголь. Немного хмельного забытья мне бы не помешало.

63

Иной раз хотелось бы проспать то или иное событие, но именно тогда – как назло – я был бодр и свеж.

То, что они тут делают, отталкивающе.

Отвратительно.

Они пришли домой, он под хмельком, а она взвинчена. И тогда...

Если бы люди знали, как смешно их слушать, когда они нежничают между собой. Есть большой смысл в том, что это не принято делать на людях. Пусть это всё и необходимо для того, чтобы люди размножились, но я бы не хотел быть невольным свидетелем этого.

Омерзительно.

Самое худшее, что за последние месяцы я уже привык все шумы превращать в картинки. Очень точно расписывать себе всё происходящее вокруг женщины.

Я не хочу представлять себе то, что сейчас происходит. Я этого не хочу. Но ведь собственной фантазии глаза не закроешь.

Они даже не ушли для этого в спальню. Я слышал ту пру-

жину, которая скрипит всякий раз, когда кто-то садится в кресло перед радио. Это Арно, он сел и широко расставил ноги. Хелене встала перед ним на колени. На колени как рабыня. Он попросил её, и она исполнила его желание. Он растегнул свою ширинку – или она это сделала за него, и потом...

Как противно.

И эта женщина родит меня на свет. «Какое милое дитя», – скажет и будет меня целовать. Этим ртом.

Не хочу.

Я пнул её изо всех сил, но она этого даже не почувствовала.

Он хочет что-то сказать, но не может правильно артикулировать слова. Тем не менее, она его, кажется, поняла и ответила что-то так же неразборчиво.

«С полным ртом не разговаривают», – любила повторять моя матушка.

Его дыхание учащается. Когда я впервые слышал это его хрюканье, я думал, что он её бьёт.

Лучше бы бил. Но это не побои. К сожалению.

Пока я корчился в омерзении, логическая часть моего мыслительного аппарата говорила: «Ещё скажи спасибо, что они выбрали такую позицию. Они делают это исключительно ради тебя».

И всё равно противно.

Оба готовятся. Сами толком не зная, к чему.

Когда в 1914 году я шестнадцатилетним записался добровольцем на войну, отец, гордясь мной, пригласил меня в трактир, куда дважды в неделю ходил выпить в привычной компании. «Теперь ты мужчина!» – сказал он, разрешил налить мне мой первый шнапс и заказал нам обоим по сигаре. Я пил и курил, и мы всем застольем пели патриотические песни.

Потом меня рвало.

На следующее утро я стоял в одном строю с другими добровольцами. Председатель совета ветеранов держал речь. Говорил, что мы юные герои, смело идущие в бой, из которого не все вернутся живыми. Со щитом или на щите.

С этого момента я и струхнул.

Что-то похожее, мне кажется, происходит с Хелене и Арно.

После распущенности того постыдного вечера её настроение целиком изменилось. Оставаясь одна, она ставит одну и ту же пластинку французскую песню, слов которой я не понимаю. И тихонько сидит – я, кстати, уже хорошо различаю положения её тела – и, как мне кажется, держит меня ладонями.

Недавно забегала Макс и хотела рассказать о своём по-

следнем любовном приключении, но Хелене перебила её. Сказала, что у неё, видит Бог, сейчас другие заботы. Я впервые слышал, чтоб они ссорились.

Когда Арно здесь, он говорит с Хелене тоном заботливой тревоги, даже если он просит её просто передать ей масло. Он то и дело спрашивается, как она себя чувствует и как у неё дела. Она всякий раз отвечает, что всё в порядке и чтоб он не беспокоился, но она произносит это с такой непорочной мягкостью, что её словам не веришь. Не знаю, намеренно ли она это делает.

Теперь уж осталось недолго.

Мне бы тоже следовало готовиться. Только я не знаю, как.

Ожидание может быть пыткой. У нас в окопах был один – мне казалось, он был не старше нас самих, но уже женатый, и его жена ждала ребёнка. Так вот, когда мы ждали сигнала к атаке, он чесал себе тыльную сторону ладони, на одном и том же месте. Он сам этого не замечал, даже когда процарапал кожу и доскрёбся до костей. Они его тогда отдали под трибунал за членовредительство. Не знаю, чем дело кончилось, но даже если они приговорили его к смерти, ожидание исполнения приговора было для него, наверное, хуже самой смерти.

Я сам ненавижу ждать.

Эти двое никогда не обсуждали – или, может, я всегда спал, когда они это обсуждали. Но решение принято. Они определились с именем, какое хотят мне дать.

Меня назовут Йонасом.

Йонас.

Одна из тех историй о чуде, после которых наш Лэммле облизывал свои набожные губы. Три дня во чреве кита. Три дня темноты. Какой пустяк. Я тут нахожусь уже скоро девять месяцев.

Пророк. Тот, кто знает больше, чем другие ожидают от него. Хотя бы в этом имя подходящее.

Йонас.

Имя мне не нравится, но я к нему привыкну. К нему тоже.

Единственный Йонас, какого я знал, был хозяином пивной. Когда-то он был борцом, преимущественно ярмарочным, и всегда носил спортивные майки без рукавов, потому что могучие бицепсы разрывали ему рукава рубашек. На одном бицепсе у него была татуировка – кит, разумеется, кто же ещё? – и когда он напрягал свои мускулы, казалось, что кит шевелит хвостом. Однажды вечером он упал, наливая пиво в кружку – апоплексический удар или что-то вроде того. Рухнул как поваленное дерево.

Йонас.

На уроках у Лэммле мы всегда озорничали, но эта история почему-то застряла у меня в мозгах: он шёл в Ниневию. Где уж там эта Ниневия находилась. Он, пожалуй, и сам не знал. Понятия не имел, на какой берег его выплюнет кит.

Так что имя совсем не случайное.

И всё-таки. Это непорядок, что имя человеку назначают другие люди. И ты не можешь против этого возразить. Следовало бы выбирать себе имя самому, лет в двенадцать или шестнадцать. Может, по тому человеку, на которого хочешь походить.

Как бы я назвал себя сам? Уж точно не Йонас. Библейские имена всегда несут на себе какую-то слабину.

Андерсена зовут Дамиан. Звали Дамиан. Но то с самого начала была шутка. Человек, над которым я сам же хотел посмеяться.

Йонас.

По крайней мере, это имя плохо поддаётся уменьшительным. Я бы не перенёс называться Йонушкой, Йончиком.

Она меня родит, они запишут имя в свидетельство, и с тех пор я так и буду зваться.

Во чреве кита.

День начинался как обычно.

«Каку тебя дела, сокровище моё?»

«Всё в порядке».

«Тогда пока!»

Французская песня. Ещё раз и ещё раз.

Некую перемену я заметил только по ней. Уровень подъёма её чувств всегда сказывается на мне. Сообщающиеся сосуды. *Удо Хергес*, помнится, будучи сыном мясника, чувствовал себя обязанным к грубоватому юмору и обозначал этим выражением половой акт, о котором мы тогда мало чего знали.

Сообщающиеся сосуды.

Нечто, передавшееся и мне, ужасно испугало Хелене. Может, то были первые схватки, хотя сам я их совсем не чувствовал. Только реакцию на них. Но тем более сильно. Хотя она должна была к этому подготовиться, она среагировала на это как на гром среди ясного неба. Она не кричала, но чувствовалось это как крик.

Чуть позже мне показалось, что я и сам испытываю какое-то давление, ни в коем случае не болезненное. Но вполне могло быть и так, что это мне лишь почудилось. Всегда кажется, что чувствуешь то, что и ожидал почувствовать.

Волнение Хелене было неприятным. Как резкий шум, который нельзя выключить.

Она позвонила Арно – тем искусственно спокойным тоном, каким люди пытаются скрыть свою панику. Я знаю это из допросов. Если я правильно истолковал его ответ по её словам, он находился где-то в отъезде. Правда, у меня нет

объяснения, как в таком случае он мог отвечать ей по телефону.

«Столько я не смогу ждать», – сказала она несколько раз. Голос её уже давно не был спокойным.

Потом за ней приехала Макс. Хотя она всего лишь студентка, но уже, кажется, имеет собственный автомобиль. «Я остановилась под знаком «остановка запрещена», – сказала она – но ты ведь экстренный случай».

Дополнительную суету создала сумка, которая в итоге нашлась не там, где должна была находиться. Я имею дело с людьми, которые плохо организованы.

Кажется, Макс ещё совсем неопытный водитель. Хелене несколько раз призывала её к большей осторожности. «Нам некуда торопиться, – сказала она. – Между схватками пока больше десяти минут».

Я всё ещё ничего не чувствовал. Ничего определённого. Пока не случилось это.

67

Я девять месяцев плавал, зависал в этой жидкости приятной температуры и привык к ней больше, чем осознавал. Я даже глотал её, не чувствуя никакого определённого вкуса. Мой рассудок знал, что это состояние не будет длиться бесконечно, но мой организм не хотел в это верить.

Мой организм испугался больше, чем я сам. Если такое

ВОЗМОЖНО.

Никакого предвестия этому не было. Такого, чтобы я заметил. Но вдруг в какой-то момент оказалось, что воды больше нет. Плодный пузырь вяло повис на мне. Запер меня. Как палатка, сдутая ветром.

Плодный пузырь. Какое смешное слово. Как будто яблоко или груша могут мочиться.

Хелене вскрикнула, закричала на Макс. Как будто то, что сейчас случилось, произошло по ошибке Макс.

А что случилось сь?

Я не привык чувствовать мир вокруг меня так отчётливо. Всякий раз, когда Хелене меняла положение, это чувствовалось так, будто кто-то тряс парусину палатки, в которой я запутался. К этому добавилось её волнение, которое болезненно передавалось мне. Иод на открытую рану.

Я в опасности?

«Езжай скорее! – кричит Хелене. – Почему ты не едешь быстрее?»

И вот она лежит на спине, но я всё равно чувствую каждое её движение. Её несут или везут. «Арно, – скулит она. – Пусть приедет Арно».

Ей отвечает успокаивающий голос. Я не могу понять, что он говорит. Он говорит с иностранным акцентом.

«Арно», – то и дело повторяет Хелене.

Это звучит как заклинание.

Теперь она молчит. Ей сделали укол или дали какое-то

лекарство. У меня это средство вызвало приятную беззаботность. Розовенькое такое лекарство.

В моей голове крутится одна и та же мысль. Одна и та же, как мелодия. «Это не начало конца, – думается мне, – это конец начала».

Интересно, как выглядит Хелене?

II

68

16 июля 2003 года. 51 сантиметр. 3248 граммов.

Я всегда посмеивался над людьми, которые в своих объявлениях о рождении сообщают как важнейшую информацию длину и вес новорождённого. Как будто они не ребёнка родили на свет, а рыбу выудили.

Теперь я делаю точно так же. Я так горд его пятьюдесятью одним сантиметром, как спортсмен гордится олимпийским рекордом, а вес 3248 граммов я бы внёс в Книгу рекордов Гиннеса.

При этом я знаю, конечно: у нас абсолютно нормальный, средний ребёнок. В одной только этой больнице за истекшие сутки родилось четверо таких. Но из всех нормальных, средних детей он – самый красивый и неповторимый.

Сразу после рождения совершенно автоматически проверяют, всё ли у малыша действительно в порядке. Так же, как при получении нового компьютера распаковываешь его и первым делом смотришь комплектность, все ли кабели и разъёмы к нему прилагаются.

Они приложили всё. Абсолютно первоклассный продукт.

Когда он впервые взглянул на свет божий, он не заплакал. Даже когда акушерка шлёпнула его по попе, он только обиженно квакнул. Как будто хотел пожаловаться на недостойное обращение.

Когда она сунула мне моего сына в руки, я не смел до него дотронуться. Ведь знаешь, что новорождённый – маленький, но знаешь это лишь теоретически. Что младенец может быть такой крошечный – и всё-таки при этом уже готовый человек, об этом я и понятия не имел. Я никогда не осознавал, как сложно устроена ушная раковина, пока не увидел её в этом миниатюрном издании.

Я не из тех людей, которые показывают свои чувства, Хелене меня уже не раз упрекала в этом, но слёзы у меня так и полились. Ей было не лучше моего, но в то же время сияние на её лице не поддавалось описанию. Лицо ещё бледное и измученное напряжением родов, но совершенно счастливое. Не удивительно, что мадонне с младенцем поклоняются.

51 сантиметр. 3248 граммов. Голубые глаза. Но это может ещё измениться, сказала акушерка. Она говорит, почти все дети при рождении имеют голубые глаза. Цвет волос тоже ещё неопределённый. Сейчас он белокурый, волосы гораздо светлее, чем у любого другого в наших семьях. Самые первые волосики выпадут, как мне объяснили, а то, что появится потом, может иметь совсем другой цвет.

Но в настоящий момент всё выглядит так, будто аист принёс его не тем родителям.

Йонас.

Имя пока что ему не подходит. Слишком взрослое для такого маленького создания. До такого имени ещё надо дорасти.

Наш Йонас.

Мы с Хелене решили, что никогда не будем разговаривать с ним на младенческом языке, чтобы ему потом не пришлось второй раз учить каждое слово, сперва «гав-гав», а потом «собака». Но когда видишь его кукольное личико, то понимаешь, как трудно будет придерживаться такого намерения. Я догадываюсь, что ещё множество вещей мы в итоге будем делать совсем не так, как предполагали.

Новые родители – это бета-тестеры. Всегда потом оказывается, что программы функционируют не так, как должны были.

Хелене была возмущена моим сравнением. Я, дескать, испорчен моей профессией, а наш сын вовсе никакой не компьютер. Я без возражений с ней согласился, хотя нахожу сравнение не таким уж плохим. Такой только что родившийся младенец действительно в чём-то похож на новенький компьютер, в него только что инсталлирована операционная система, а блок памяти совершенно пустой. Но Хелене слишком слаба для дискуссии. Рожать детей – физическая пере-

грузка. Мужчины бы вообще этого не выдержали. Если бы детей приходилось рожать нам, человечество уже давно бы вымерло.

Всё это было особенно тревожно, потому что роды у Хелене начались, естественно, в тот момент, когда я был у нашего клиента на другом конце города. Если мне придёт извещение о штрафе за превышение скорости, я пошлю в полицию копию свидетельства о рождении.

По дороге в больницу (Макс её отвозила туда) лопнул плодный пузырь, и поначалу, конечно, была объявлена тревога. Но когда они добрались до больницы, всё снова было под контролем. И люди там отнеслись к этому совершенно спокойно. Я спрашиваю себя, то ли их действительно ничем не удивишь, то ли это лишь поза, что бы успокоить будущих родителей. Когда меня вызывают к клиенту, у которого полетела система, я ведь тоже разыгрываю из себе гуру, даже если ни малейшего понятия не имею, в чём кроется ошибка.

Хелене была очень храброй. И у неё всё прошло быстрее, чем мы ожидали. Ведь часто слышишь, что первые роды могут тянуться бесконечно, но с Ионасом был совсем не тот случай. Акушерка сказала: ей показалось, будто малыш рвался на свет божий словно бы в нетерпении. Естественно, это чепуха, но Хелене ужасно горда этим и рассказывает всем своим посетителям.

Макс притащила Хелене целую сумку всяких безделушек. Обе сообща в них рылись и беспрерывно хихикали. Женщины умеют быть ужасно глупыми. Макс подарила мне эту записную книжку, очень милый жест, если учесть, что мы с ней друг друга недолюбливаем. «Записывай всё, что переживёшь со своим малышом, – сказала она. – Чтобы потом мог перечитать про счастливые дни, когда доживёшь до неотвратимого кризиса среднего возраста». Не понимаю, зачем ей всё время так умничать только оттого, что она изучает психологию.

Но идея с дневником хорошая. Конечно, было бы практичнее всё, что ты хочешь сохранить, просто вбивать в один файл, но кто знает, будет ли через два десятка лет такой компьютер, который сможет читать вордовские файлы. Кроме того, мне нравится представление, что когда-нибудь потом я вручу эти воспоминания в руки Йонасу. Может, в день его восемнадцатилетия. Когда он будет получать аттестат зрелости. Форвардом, забивающим голы на молодёжном чемпионате Европы U21, он, естественно, тоже будет. С тех пор, как он здесь, я живу только будущим, и оно прекрасно.

А картинку на обложке можно ведь и заклеить. Пара птичек, кормящих своих птенцов в гнезде – это всё-таки слишком пошло. Надеюсь, что у моего сына вкус будет лучше.

Итак, дневниковая запись номер один:

Когда Хелене впервые поднесла Йонаса к груди, он скривил лицо в гримасу отвращения, как будто такой вид пропитания был совсем не по нему. Мы оба рассмеялись. Как старик, которому не по вкусу его черносливы.

(Чтобы Ты правильно понял, когда будешь читать это в Твои восемнадцать лет: разумеется, я знаю, что это недовольство мы только приписали Твоему лицу. Все груднички выглядят как старцы, забывшие свои вставные челюсти на ночном столике. Эта мысль нас просто позабавила. Я хотел сделать фото Твоей сморщенной мины, но пока доставал свой мобильник, этого выражения лица уже как не бывало).

Зато мне удался другой снимок. Моя мама, из которой наверняка получится великолепная бабушка, собственноручно связала для Йонаса ползунки. Но вязальщица из неё никудышная, такой и была всегда и загубила хорошую вещь, одна нога получилась короче другой. Кроме того, ей не хватило шерсти, пришлось докупить, а нужного цвета она уже не нашла. Но мы всё равно напялили эти ползунки на Йонаса («Но больше никогда!» – говорит Хелене, глядя мне через плечо), и на фото он получился как ряженный для карнавала. Особенно комично серьёзное лицо, которое он при этом делает.

Мама вообще не обиделась, что мы смеялись над её подарком. А на внука не могла нарадоваться.

Иностранные слова – опасное дело. Сегодня во второй половине дня в палату вошёл мужчина в белом халате, представившись «ординатором педиатрии». Поскольку я такого слова никогда не слышал, я сейчас же подумал о дурной болезни. Но педиатр оказался обыкновенным детским врачом.

Он обследовал Йонаса с головы до пяток, и всё оказалось в наилучшем виде. Только одна мелочь, о которой мы не должны тревожиться: кажется, Йонас не может разжать левый кулачок. Это какая-то судорога. Нам это вообще не бросилось в глаза, потому что у него обе руки сжаты в кулачки. Это у всех младенцев в первые дни так, объяснил нам врач, у них сильный хватательный рефлекс, унаследованный, вероятно, от наших предков-обезьян, у которых новорождённым приходится крепко держаться за шерсть матери. Теоретически ребёнок мог бы висеть, держась за бельевую верёвку, и не упал бы. Но кто ж будет это проверять, разве что садист.

У Йонаса, по его мнению, этот рефлекс очень сильно выражен. Самое позднее через несколько дней или недель этойдёт само по себе.

С тех пор, как он обратил на это наше внимание, мы, естественно, всё время поглядываем на левый кулачок Йонаса. Он и впрямь выглядит так, будто он в нём что-то держит.

Когда я рассказал об этом на работе (я по такому случаю

угощал, так положено), у Федерико тут же нашёлся подходящий анекдот про семью карманных воришек: их сын тоже явился на свет с зажатым кулачком, прихватив с собой обручальное кольцо акушерки. Вот такие у меня весёлые коллеги, хахаха.

Петерман дал мне без всякой моей просьбы два дня – таким тоном, в котором отчётливо звучало: «Но потом будь добр вовремя быть на месте!» Пожалуй, нельзя быть одновременно оголтелым трудоголиком и милым человеком.

Вечером я чуть не до полуночи оставался в палате Хелене. К счастью, здесь нестрого следят за временем посещения. Говорили мы не так много. Ионас лежит в переносной люльке у постели Хелене, и мы просто слушали, как он дышит. Лучшей музыки я и представить себе не могу.

Я всё ещё не привык к тому, что мы теперь уже не пара, а семья.

Завтра закончится блаженный покой. Приезжают родители Хелен. Но хотя бы на сей раз не привезут с собой своего слюнявого пса. В этом пункте я был категоричен. Этот зверь не появится вблизи моего сына. Я, в конце концов, несу свою ответственность как новоиспечённый отец.

Свежеиспечённые дед и бабка могли бы выказать и больше радости. Но они ведь оба – учителя и больше ничего не

могут, кроме как выставлять оценки. Йонас, судя по их ми-
нам, заслуживает не больше четвёрки с минусом. Не хотел
бы я оказаться на месте их учеников.

Не слишком ли он слабенький, на полном серьёзе спроси-
ла моя почтенная почти-что-тёща. Мой сын не слабенький.
Может, он должен был встать и сплясать для них хип-хоп?

Я знаю, что сердиться бессмысленно. Они таковы, каковы
уж есть. Но и Леонардо да Винчи бы тоже не порадовался,
показав кому-нибудь свеженаписанную Мону Лизу и услы-
шав при этом: «Ачто, нельзя было в её улыбке хоть немного
приоткрыть зубы?»

От меня они, естественно, ожидали, что я для них всё ор-
ганизирую, а когда я это сделал, они были недовольны резуль-
татом. Номер в отеле, заказанный мной, оказался для них
шумноват, матрасы мягковаты, а апельсиновый сок на зав-
трак и вовсе не свежевыжат. С моей мамой они сверхлюбез-
ны, но настолько свысока, что просто в глаза бросается: они-
то птицы высокого полёта, с высшим образованием, а мама
всю свою жизнь всего лишь скромная служащая. К счастью,
приехали они ненадолго, их бедный пёс в приюте для живот-
ных несчастлив и скучает. Они говорят об этом с такой уко-
ризной, как будто я живодёр по профессии.

Насчёт имени Йонас они тоже морщили нос.

Хелене уж должна бы знать своих родителей, но слишком
всерьёз приняла их «слабенького» и тут же впала в беспок-
ойство. Она вообще постоянно в тревоге, такого я за ней не

знал. Например: Йонас мало кричит, ей бы радоваться, что дитя не причиняет неудобств, а она давай задумываться, всё ли у него в порядке с лёгкими, нет ли родовой травмы. Было смешно: в тот же миг, как она об этом заговорила, Йонас принялся вопить во всё горло. Как будто он просто забыл это делать, а тут вдруг вспомнил.

То, что она всё видит в чёрном цвете, определённо связано с её усталостью. Но я приписываю вину и всем тем книгам по беременности и родам, которые она прочитала. Естественно, в них описаны все случаи патологий. И ей теперь мерещится, что она замечает симптомы то одной патологии, то другой.

Детский врач – извините: педиатр – попытался её успокоить. Мол, нет никаких причин для тревоги. Наш Йонас совершенно нормальный ребёнок.

Луж самый хорошенький из всех – это однозначно.

73

Сегодня Хелене плакала часами, и я не мог её утешить. В конце концов она приняла снотворное, а завтра ей, надеюсь, станет лучше.

Мне её ужасно жаль. Она ревела, что плохая мать и что Гном это тоже чувствует. Что он никогда не будет её любить, она знает, никогда в жизни; и что между ними стоит стена, отторжение, которое ей не преодолеть. Разумеется, она толь-

ко воображает себе это, но именно потому, что это лишь воображение, её и невозможно переубедить.

Госпожа д-р Штеенбек полагает, что для тревоги нет причин, настроение проистекает не от истинных проблем, а из-за гормональной перестройки. Послеродовая депрессия.

Гормоны ли, не гормоны, а Гному не на пользу, если мать срывается в такую эмоциональную яму. Когда Хелене наконец заснула, я взял его на руки и качал. Иногда он посреди сна раскрывает глаза – и тогда в его лице появляется что-то вроде разочарования, хотя это скорее всего боли в животике. Может, поэтому Хелене и пришла в голову такая безумная идея, что дитя её отторгает.

Семимудрых нашихя в тот вечер спровадил. (Хелене не любит, когда я так называю её родителей, но я считаю, что определение им очень подходит). Они отправились в концерт. Естественно, билеты им должен был организовать я. Ведь мне же больше нечего делать.

Потом мама помогала мне сделать последние приготовления в квартире. Детскую кроватку можно складывать, а для начала мы поставили её в нашей спальне. К ребёнку придётся вставать каждые пару часов, и практичнее, чтоб было недалеко. Пока что Ионас очень спокойный младенец, но было бы чудом, если бы так оставалось надолго.

Коллеги на работе (Федерико это организовал) подарили нам подвеску для детской кроватки. Если потянуть за шнур, она не только двигается, но и играет музыку. «Guten Abend,

gut Nacht». Хелене хотя и говорит, что я ничего не понимаю в музыке, но эту мелодию я всё-таки узнал.

Я немного нервничаю (Ты будешь над этим смеяться, когда в восемнадцать лет прочитаешь эти строчки) в моей новой роли. Что-то вроде волнения перед выходом на сцену. Хочется всё сделать правильно, и всё время тебя от чего-нибудь предостерегают. Если верить всему, что Хелене вычитала в умных книжках от Макс, то обеспечить ребёнку пожизненную травму может поистинё всё что угодно.

Было бы гораздо практичнее, если бы дети рождались уже взрослыми. Или хотя бы в том возрасте, когда с ними можно говорить.

74

В последний день в больнице произошло такое, что я обязательно должен записать, чтобы когда-нибудь потом мы все вместе смогли посмеяться над этим. Я веселился как молочник, нарисованный на молочном фургоне, хотя, разумеется, делал вид, что мне очень стыдно.

Я пообещал семимудрым отвезти их на вокзал. Ведь они не могут себе позволить такси, бедные. Мать Хелене уже стояла в пальто и демонстративно поглядывала то и дело на часы. Но я – перед тем как сыграть роль шофёра – должен был ещё раз перепеленать Йонаса. Пока Хелене ещё не вполне встала на ноги, это была моя обязанность. Ну, руки у меня и

правда не самые ловкие в мире (это у меня от мамы), однако это не повод, чтобы Луизе встала над душой и комментировала каждое моё неверное движение. Если она так же обращается со своими учениками, как со спутником жизни её дочери, то я даже представить не в силах, чтобы кто-нибудь выбрал её в любимые учительницы. Правда, эта избранность может значить для неё не так много.

(Дорогой Йонас, она – Твоя бабушка, может быть, она баловала тебя все эти восемнадцать лет на всю катушку, и ты любишь её горячо и искренне. Я даже надеюсь, что так оно и есть. Тогда и ко мне она наверняка стала благожелательнее. Но пока что мне кажется, что она путает меня со своей собакой и хочет научить меня становиться перед ней на задние лапы).

Так или иначе; в какой-то момент я так разнервничался; что сказал: «Тогда сделай это сама!» Чего; вероятно; она и хотела от меня добиться. Она тут же приступила к делу с таким высокомерным выражением на лице: мол; я профи; а ты новичок. Ионас лежал на спине; и когда она его обнажила; он её описал. Да попал точно в цель: прямо в лицо. Удивительно; что такой маленький младенец оказался способен пустить такую сильную струю.

Я сохранял полную серьёзность и ставлю себе это в большую заслугу. Кое-кто получал Оскара и за куда меньшие актёрские достижения. Петер; мой будущий тесть; тактично отвернулся; чтобы его жена не застучала его за усмешкой. А

то бы она записала ему выговор в классный журнал. Обычно они оба чёрствыые как сухари.

Сама она; конечно; сделала вид; что не придаёт делу трагизма; а что ей ещё оставалось. Но с этого момента она была молчалива. По дороге на вокзал ни разу не высказалась насчёт моего стиля вождения. Уже за одно это Йонас заслуживает награды.

Я знаю; это некрасиво с моей стороны; но я как-то не огорчён тем; что они живут от нас так далеко.

75

Наконец-то свершилось: мне разрешили забрать Хелене и Йонаса домой. Фанфары и барабанная дробь!

Но сперва пришлось побегать по больнице; подписывая в разных кабинетах какие-то бумаги. Как будто я что-то купил на строительном рынке – и на кассе мне пропечатывают гарантийное свидетельство. Притом что мы совсем не собираемся обменивать Йонаса по гарантии; хахаха.

Когда покидаешь клинику с младенцем на руках; в этом есть что-то торжественное. Все встречные тебе улыбаются. Одна пожилая женщина; что стояла у выхода со своей капельницей и жадно курила, даже попросила у меня разрешения дотронуться до Йонаса – мол, это принесёт ей счастье. Я предпочёл бы ей этого не позволять, кто знает, какая у неё болезнь, но это было бы совсем невежливо. И она осторожно

приложила к нему кончиками пальцев.

Цветочные композиции, которые нам присылали в больницу, мы оставили там. Они и так всё время стояли в холле, потому что Хелене плохо переносит ароматы цветов. Кажется, бывает не только токсикоз беременности, но и токсикоз послеродовой. Я попросил медсестру отдать цветы тем, к кому никто не приходит.

Четыре дня назад я подруливал к больнице с лихостью Михаэля Шумахера. А теперь, по пути домой, меня мог бы обогнать любой дедушка на ископаемой модели. Так осторожно я не ездил ни разу за всю мою жизнь. Сзади мне сигналили, потому что я тормозил перед каждым перекрёстком, чьё бы там ни было преимущество движения. Но ведь я вёз бесценный груз. Хелене сидела на заднем сиденье, держа Йонаса на руках. Вообще-то, ему полагалось быть пристёгнутым к детскому креслу, но у меня ещё руки не дошли купить его. Очень уж много всего нужно было сделать в последние дни. Но я хотя бы наскоро заскочил на автомойку и пропылесосил салон внутри ради гигиены перед тем, как забирать их из больницы.

В нашем районе иногда по десять минут приходится колесить по округе в поисках места для парковки. А на сей раз свободное место оказалось прямо перед домом. Люди знают, что они должны Йонасу.

Мама по своему обыкновению тайком прикрепила к двери нашей квартиры табличку с аистом, несущим в клюве

свёрток с младенцем. Хотела как лучше, но жуткий китч. Через пару дней мы тактично позволим этой табличке исчезнуть. Или повесим её в детскую комнату.

Когда мы вошли в квартиру, был по-настоящему торжественный момент. Начиналась новая глава нашей жизни.

Когда Хелене потом выйдет за меня замуж, я и её внесу в дом на руках.

76

Первая ночь втроём была совсем не такой, как я себе представлял. Я ждал бессонницы и беспокойства, но проспал бы всё на свете, если бы Хелене не вставала посмотреть на Ионаса. Притом что тот мирно посапывал себе. Не издав ни звука, пока в шесть часов она не поднесла его к груди.

В свой первый день дома он только раз по-настоящему покричал.

Это было, когда я привёл в движение подвеску над его кроватью – и механизм замурлыкал свою песенку. Тут он заорал как резаный. Я хотел тут же остановить музыку, но конструкция этого не предусматривала. Пришлось беспощадно выслушать всю мелодию до конца.

Наутро я из чистого любопытства попробовал включить подвеску ещё раз. С тем же эффектом. Как только потянешь за шнур, Ионас начинает орать. Не знаю, то ли он боится эту подвеску или так не любит «Guten Abend, gut Nacht». Мы

теперь сняли эту штуку с кровати.

Но это пока что единственные случаи, с которыми Ионас был не согласен. Кажется, он и впрямь очень спокойный ребёнок.

(Когда Ты будешь это читать, пубертатная пора у Тебя уже останется позади, но о миролюбии ещё и речи не будет. Скорее всего, Ты годами будешь лишать нас сна слишком громкой музыкой. Будут ли ещё слушать рэп через восемнадцать лет? Или ты будешь находить мои любимые саунды такими же старомодными, каким я нахожу битловский фанатизм последнего поколения? Предвкушаю то время, когда мы с тобой сможем обсуждать такие вещи. Или спорить о них.)

Депрессия Хелене ещё не совсем прошла. Она всё ещё слишком тонкокожая и может выйти из себя из-за мелочи. Мама принесла нам вчера кастрюльку своего знаменитого гуляша, и я нашёл это очень милым с её стороны. Но Хелене только рассердилась. Мол, это неосмотрительно, и маме не мешало бы знать, что кормящим матерям не следует есть ничего острого, чтобы не навредить малышу. К счастью, моя мама не воспринимает такие вещи трагически.

Сегодня я разогрел гуляш для себя, и самое интересное было то, что Ионас среагировал на запах. Не то чтобы он улыбнулся, в этом возрасте они ещё не умеют это делать, но впечатление было такое, что он наслаждается ароматом. Я по глупости спросил шутки ради, не дать ли ему попробовать кусочек, но Хелене не нашла это забавным.

Я стараюсь разгрузить её, в чём только могу. Но это не так много, я просто недостаточно бываю дома. Я подал заявление на отпуск за свой счёт, но на работе как раз отсутствуют двое, и на остальных приходился дел выше крыши. Но на следующей неделе уже удастся.

77

Сегодня я впервые на целый день оставался один с Йонасом. Макс похитила Хелене, «чтобы снова её как следует побаловать». Конечно, это мило с её стороны, но она всегда говорит такие вещи с критическим подтекстом. Как будто хочет намекнуть, что я не слишком заботлив по отношению к её подруге. Обе отправились в хаммам – куда Хелене никогда не удавалось заманить меня. Чтобы меня там растирали чужие руки – нет уж, это не для меня.

Хелене сцедила молоко и в деталях объяснила мне, как его потом разогревать. Когда речь идёт о младенце, женщины считают всех мужчин идиотами.

Йонас не был для меня обременителен. Вот только моя музыка ему не подошла. Из-за Тупака Шакура он начал орать и перестал, только когда я его выключил. Может, что-то и есть в заверениях Хелен, что младенец ещё в утробе слышит музыку – и ему можно привить определённые предпочтения. Во время беременности я ей это позволял делать, потому что не верил в её теории. Но если теперь мне придётся подолгу

выслушивать эту классическую тягомотину, то мне надо запастись терпением.

Тогда я обошёлся без музыки. Надевать наушники мне не хотелось, чтобы не пропустить момент, если с Ионасом что-то случится. Но ничего с ним не стряслось. «Он спокойный», – говорит мама. Кроме того, ему уже десять дней, и он практически уже взрослый.

Потом он поспал – он много спит, днём тоже – и в это время я писал в дневник.

После обеда была хорошая погода, и мы с ним ходили гулять. При этом я сделал интересное открытие: такая коляска с милым младенцем внутри была бы идеальной наживкой для привлечения женщин. В парке я заводил разговоры с несколькими юными матерями, и одна из них была чёрт знает как хороша. Будь я холостяком, я бы регулярно навязывался соседям в бебиситтеры, уезжал бы с коляской и вскрывал бы и осваивал целые месторождения.

(Чтобы у Тебя не сложилось превратное впечатление об отце, восемнадцатилетний Ионас: это я написал в шутку).

В парке случился один забавный момент: Ионас зевал и при этом – разумеется, по чистой случайности – сделал движение рукой к лицу. Одна из этих юных мамочек увидела это и сказала: «Смотрите, он рот прикрывает рукой». И я – с самой непроницаемой миной: «Прививать ребёнку правила хорошего тона никогда не рано». Она хотя и засмеялась, но по ней было видно, что она не вполне уверена в моей шутке.

Кажется, больница продаёт агентам адреса новоиспечённых родителей. Едва Хелене успела вернуться домой, как почтовый ящик уже забили проспектами и рекламными письмами – насчёт подгузников, детского питания и тому подобного. Поток не ослабел и по сей день.

Больше всего я ненавижу когда в таком письме к тебе обращаются по имени, впечатанном в стандартное письмо синими чернилами, как будто оно вписано от руки. Как будто не видно невооружённым глазом, что всё изготовлено компьютером. (В большинстве случаев они используют шрифт *Lucida Handwriting* – видимо, самый любимый у рекламщиков.)

Вчера даже почтальон, с которым прежде я не обменялся ни единым словом, поздравил меня с рождением ребёнка. Когда я его спросил, откуда он знает, он засмеялся и сказал: «Когда по какому-то адресу приносишь все эти бесплатные образцы, нетрудно догадаться, что в это окно залетел аист».

Мы получаем также пробные экземпляры журналов для молодых родителей, будущих подписчиков. Вот это вот всё. Я их не читаю, ведь статьи в них пишутся только для того, чтобы заполнить и обратную сторону рекламных объявлений. Но одна идея, на которую я там наткнулся, показалась мне и впрямь хорошей. Они зафиксировали целый день

грудного младенца, фотографируя его каждые пятнадцать минут – от пробуждения до засыпания. Это подтолкнуло меня к тому, чтобы проделать то же самое с Ионасом. Такую серию, подумал я, потом наверняка будет интереснее смотреть, чем отдельные снимки. Но результатом я остался недоволен.

На снимках из журнала малыш от кадра к кадру выглядел по-разному – то весёлым, то грустным, то сонным. Я подозреваю, что снимки были сделаны в течение более продолжительного времени, а не в один день. Я имею в виду: кто же переодевает младенца по десять раз на дню? Чистый показ мод на ползунки. Может, это и было целью эксперимента. Поглядев на эти картинки, человек должен был бежать в магазин детских товаров и опустошать там полки.

Но самое большое различие было в другом. На моих снимках у Йонаса было всегда одно и то же выражение лица, немного удручённое, как будто он был недоволен тем, что его родили в этот мир.

Когда я обратил на это внимание Хелене, она среагировала обиженно, как будто я обвинил Йонаса в чём-то негативном. Но достаточно было только взглянуть на эти снимки. Одно и то же выражение лица. Раньше мне это не бросалось в глаза.

Я, разумеется, знаю, что в этом возрасте груднички ещё не умеют улыбаться. Но неужели наш сын всегда будет так мрачно смотреть на мир?

Может быть, мне следует начать новую карьеру. Кажется, я от природы одарён для профессии целителя-экстрасенса.

Хелене настаивала, чтобы я остриг Йонасу ногти. Она где-то прочитала (возможно, в одном из этих журналов), что груднички легко могут поцарапать себе лицо. Я хотя и не видел такой опасности, его ноготки были всё ещё крошечными, но когда речь идёт о Йонасе, лучше ей не возражать.

Я немножко играл в этот маникюр и был при этом чрезвычайно осторожен. Рядом с таким крохотным тельцем даже маникюрные ножницы выглядели опасным орудием убийства. «Обработать» я мог, естественно, лишь пальчики правой руки, поскольку левую Йонас держал по-прежнему зажатой в кулачок.

(Если в восемнадцать лет Ты решишь стать профессиональным боксёром – сверхтяжёлого веса, разумеется – Ты сможешь рассказывать репортёрам, что начал тренироваться ещё в колыбели. См. вклеенное фото).

Остригать там было действительно почти нечего. А поскольку меня так растрогали его маленькие кулачки, я гладил его по тыльной стороне ладони и наговаривал ему, как обычно разговаривают с младенцами, не ожидая от них понимания. «Какие у тебя хорошенькие две ладошеньки, – повторял я ему, – две чудесные ладошеньки». Что-то в этом

роде. К моему изумлению его судорожно сжатые пальчики медленно распрямились – впервые с его рождения. На пару секунд его ладонь целиком раскрылась. Я тотчас позвал Хелене, но пока она пришла, он уже снова стиснул кулачок. Правда, теперь мы знаем, что в принципе всё в порядке.

Кстати, о разговоре с грудничками: вечером у нас была Макс, и мы обсуждали, действительно ли «мама» – первое, что говорит малыш. Вроде бы это слово одинаково звучит на всех языках. Хелене сказала, что это логично, в конце концов мать – самый близкий человек для ребёнка. Макс, которая иногда бывает разумна не по годам, была другого мнения. Родителям только кажется, что дети это «говорят»; «мама» вообще не слово, а лишь звук, который возникает сам по себе, когда дети открывают и закрывают рот. Может, она и права, но лучше бы придержала свою мудрость при себе. Теперь Хелене, когда впервые услышит от сына «мама», уже не сможет этому как следует порадоваться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.